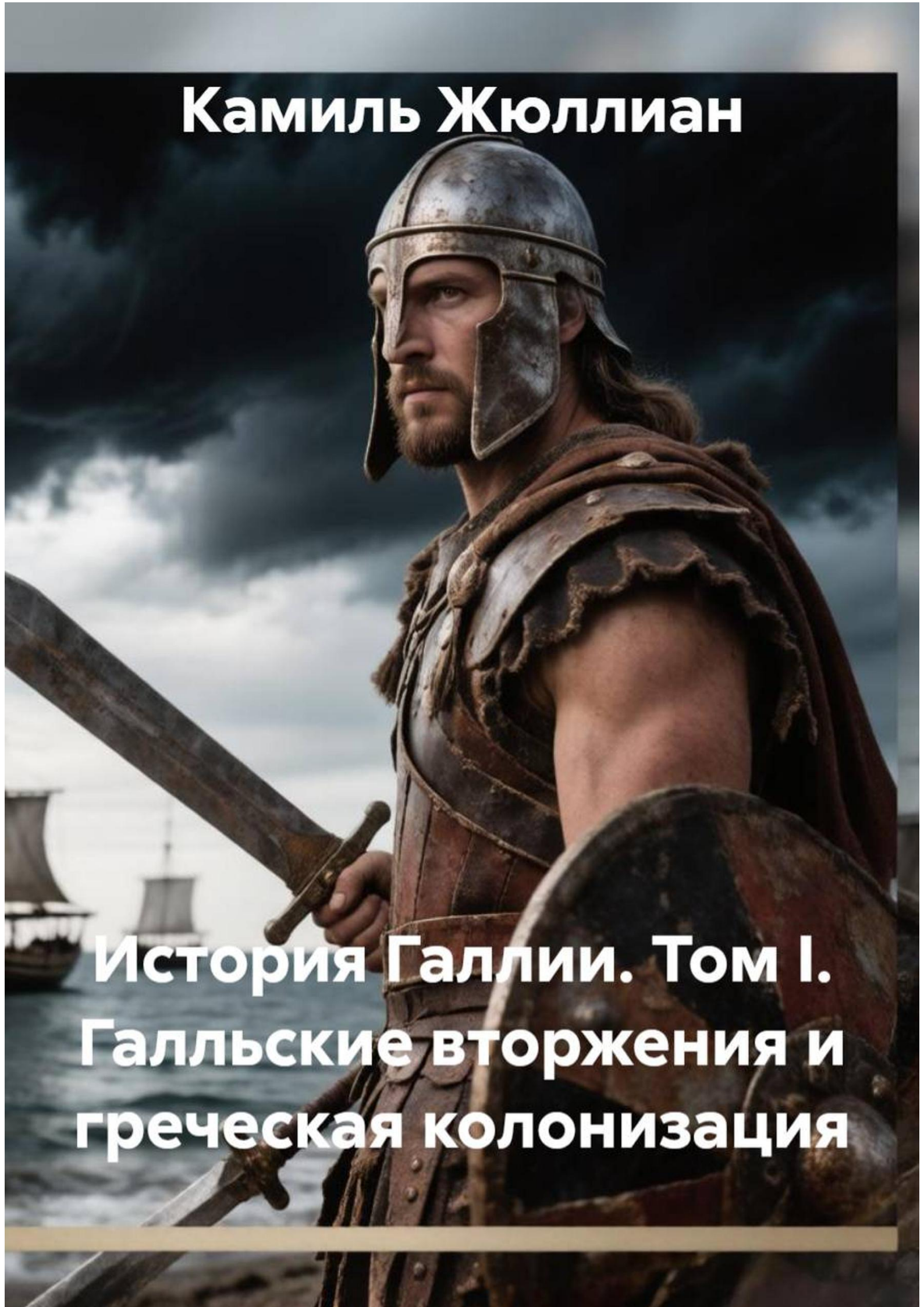




Камиль Жюллиан

**История Галлии. Том I.
Галльские вторжения и
греческая колонизация**

Камиль Жюллиан

**История Галлии. Том I.
Галльские вторжения и
греческая колонизация**

«Автор»

2026

Жюллиан К.

История Галлии. Том I. Галльские вторжения и греческая колонизация / К. Жюллиан — «Автор», 2026

Камиль Жюллиан (1859–1933) — французский историк, филолог, археолог и эпиграфист, первый профессор истории Галлии в Коллеж де Франс. Его восьмитомная «История Галлии» (1908–1926) — фундаментальный труд, соединивший географию, филологию, нумизматику, эпиграфику и археологию. Первый том «Галльские вторжения и греческая колонизация» (1908) охватывает период от древнейших времён до начала Второй Пунической войны. Жюллиан реконструирует историю лигуров, кельтов и иберов, основание Массилии, греческую колонизацию и переход Ганнибала через Альпы. Методология учёного, вдохновлённая Фюстелем де Куланжем и Видалем де ла Блашем, утвердила Галлию как самостоятельный предмет исследования, а не приложение к истории Рима.

© Жюллиан К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Введение к «Истории Галлии» Камиля Жюллиана	5
I. Камиль Жюллиан: жизнь, научная деятельность и место в историографии	5
II. Первый том: «Галльские вторжения и греческая колонизация»	8
III. Обзор остальных томов	11
IV. Значение «Истории Галлии»	13
Заключение	14
ГЛАВА I. — СТРОЕНИЕ ГАЛЛИИ [1]	15
ГЛАВА II. — ПОЛОЖЕНИЕ ГАЛЛИИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ[1]	27
ГЛАВА III. — ПРИРОДА И ОБЛИК ПОЧВЫ [1]	38
ГЛАВА IV. — ЛИГУРЫ [1]	49
ГЛАВА V. — ОСНОВАНИЕ МАССИЛИИ [1]	75
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Камиль Жюллиан

История Галлии. Том I. Галльские вторжения и греческая колонизация

Введение к «Истории Галлии» Камиля Жюллиана

I. Камиль Жюллиан: жизнь, научная деятельность и место в историографии

1.1. От Марселя до Коллеж де Франс

Камиль Жюллиан родился 15 марта 1859 года в Марселе, в протестантской семье, происходившей из Севеннских гор. Его отец был инженером путей сообщения, и семья часто переезжала — из Марселя в Алжир, затем в Париж. Это раннее знакомство с средиземноморским Югом Франции, с его пейзажами, портами и древностями, во многом определило направление его научных интересов.

В 1877 году Жюллиан поступил в Высшую нормальную школу (*École normale supérieure*), где слушал лекции Фюстеля де Куланжа — одного из самых влиятельных историков Франции XIX века, автора «Древнего города» и «Истории общественного строя древней Франции». Именно Фюстель де Куланж приучил его к строгой работе с источниками и к мысли о том, что история Франции начинается не с франков, а с римской Галлии. Вторым его учителем был географ Видаль де ла Блаш, чья «Картина географии Франции» (1903) стала для Жюллиана образцом соединения географического и исторического анализа. В Высшей нормальной школе он подружился с Анри Бергсоном — будущим философом, чья критика механистического детерминизма, возможно, повлияла на антипозитивистские ноты в историческом мышлении Жюллиана.

В 1880 году Жюллиан занял первое место на конкурсе на звание агреже по истории — высшем экзамене на право преподавания в лицеях и университетах. Затем он два года провёл в Римской французской школе, где изучал латинские надписи и памятники римской эпохи. По возвращении во Францию он был назначен профессором в университет Бордо, где преподавал с 1883 по 1905 год.

Бордоский период стал временем интенсивной научной работы. Жюллиан опубликовал «Римские надписи Бордо» (1887–1890), «Историю Бордо от истоков до 1895 года» (1895), а также небольшую, но концептуально важную книгу «*Gallia*: краткий очерк Галлии под римским владычеством» (1892). Эта последняя работа, объёмом около трёхсот страниц, уже содержала зародыш будущего восьмитомника: мысль о том, что история Галлии — это «первый акт» истории Франции, что географическая среда и доримское население не были простым фоном римского завоевания, а активными силами исторического процесса.

В 1905 году для Жюллиана была создана кафедра национальных древностей в Коллеж де Франс — высшем учебном заведении Франции, где читались публичные лекции для широкой аудитории. Он занимал эту кафедру до 1930 года. В 1908 году он стал членом Академии надписей и изящной словесности, а в 1924 году — членом Французской академии. Он был кавалером ордена Почётного легиона.

1.2. Методология: история как синтез наук

Метод Жюллиана сформировался под влиянием двух интеллектуальных традиций: исторической критики Фюстеля де Куланжа и географического подхода Видаля де ла Блаша. От первого он унаследовал требование работать с первоисточниками — текстами, надписями, монетами, археологическими находками — и не доверять позднейшим пересказам. От второго — убеждение, что история народа неотделима от истории почвы, которую он населяет.

Жюллиан реконструировал прошлое, сопоставляя данные географии, филологии, нумизматики, эпиграфики и археологии. Он был одним из первых историков, кто систематически использовал топонимику — названия рек, гор, источников — для реконструкции этнической и языковой карты древней Галлии. Его работа о лигурийских топонимах (глава IV первого тома) представляет собой классический пример этого метода: анализируя названия рек и гор на всей территории Франции, Испании, Италии и даже Британии, он стремился доказать существование древнего лигурийского языкового единства Западной Европы.

Жюллиан также активно участвовал в археологических дискуссиях своего времени. Наиболее известный эпизод — его участие в споре о подлинности находок в Глозеле (департамент Алье), где в 1924 году были обнаружены якобы доисторические таблички с надписями. Жюллиан с самого начала считал их подделкой — и последующие исследования подтвердили его правоту. Этот эпизод показателен: Жюллиан сочетал смелость гипотез с осторожностью в отношении сенсационных открытий.

1.3. Патриотический контекст

«История Галлии» писалась в эпоху, когда Франция ещё переживала последствия поражения в франко-прусской войне 1870–1871 годов. Потеря Эльзаса и Лотарингии, унижение Парижа, провозглашение Германской империи в Версале — всё это вызвало во французском обществе глубокий кризис национального самосознания. Историки искали в прошлом основания для национального единства и величия. Галлия воспринималась как «первый акт» истории французской нации — момент, когда на территории будущей Франции возникло первое единство, первый народ, первая цивилизация.

Жюллиан не был националистом в узком смысле слова. Его Галлия — это не замкнутый мир, а перекрёсток народов и культур, открытый влияниям Средиземноморья и Севера. Но его работа проникнута патриотическим чувством: он стремился показать, что Франция имеет глубокие исторические корни, что её единство не случайно, а подготовлено самой природой — реками, равнинами, горными проходами, которые с древности соединяли разные части страны в единое целое.

1.4. «История Галлии»: структура и судьба

Восьмитомная «История Галлии» публиковалась в парижском издательстве Natchette с 1908 по 1926 год. Первый том вышел в 1908 году под названием «Галльские вторжения и греческая колонизация». Последний, восьмой том, завершающий повествование римским завоеванием и установлением римского владычества, появился в 1926 году. Общий объём труда — более четырёх тысяч страниц, не считая указателей и приложений.

Структура томов отражает хронологический и тематический принципы:

· **Том I. Галльские вторжения и греческая колонизация** (1908) — от древнейших времён до начала Второй Пунической войны.

- **Том II. Кельтская Галлия** (1910) — внутренняя история кельтской Галлии до римского завоевания.
- **Том III. Завоевание Галлии Цезарем** (1911) — Галльские войны и их последствия.
- **Том IV. Римская Галлия** (1913) — установление римского владычества, административное устройство.
- **Том V. Галлия под Римом** (1914) — экономическая и социальная жизнь.
- **Том VI. Галлия и Рим** (1920) — религия, культура, интеллектуальная жизнь.
- **Том VII. Христианская Галлия** (1922) — распространение христианства.
- **Том VIII. Галлия и вторжения** (1926) — кризис III века и начало варварских вторжений.

Каждый том имеет свои приложения: списки источников, указатели имён и мест, карты. Особую ценность представляют примечания Жюллиана, которые занимают иногда больше места, чем основной текст: в них он ведёт полемику с предшественниками, обосновывает датировки, анализирует тексты.

II. Первый том: «Галльские вторжения и греческая колонизация»

2.1. Общий замысел

Первый том «Истории Галлии» охватывает период от древнейших времён до примерно 218 года до н. э. — до начала Второй Пунической войны, когда Ганнибал перешёл Рону и вступил в Альпы. Хронологические рамки обозначены самим Жюллианом во введении: «примерно с 600 года до Рождества Христова до приблизительно 400 года нашей эры». Но фактически первый том заканчивается раньше: на пороге римского завоевания, когда Галлия ещё остаётся «оставленной галлам» (выражение из названия главы XII).

Название тома — «Галльские вторжения и греческая колонизация» — указывает на два главных сюжета: миграции кельтских и иберийских народов, с одной стороны, и основание Массилии (Марселя) и экономическую экспансию греков — с другой. Эти два процесса определяют, по Жюллиану, всю раннюю историю Галлии: кельты приходят с севера, греки — с юга, и их встреча создаёт ту историческую ткань, из которой впоследствии возникает римская Галлия.

2.2. Структура первого тома

Том состоит из двенадцати глав, которые можно сгруппировать в четыре тематических блока:

Блок 1: География и природа (главы I–III)

Глава I «Строение Галлии» посвящена физической географии страны. Жюллиан описывает границы Галлии — моря, горы, реки — и показывает, как природные условия определяли исторические судьбы её населения. Он настаивает на том, что «историк должен рассматривать отношения человека с почвой, которую он населяет, на тех же основаниях, что и отношения людей между собой». Глава II «Положение Галлии в древнем мире» анализирует проходы через Альпы и Пиренеи, пути через Рейн, морские пути Средиземноморья и Океана. Глава III «Природа и облик почвы» описывает металлы, строительные камни, глины, хлебные земли, пастбища, леса, болота, климат, источники и термальные воды.

Эти три главы — не просто фон для последующего повествования. Жюллиан стремится показать, что само географическое положение Галлии — между Средиземным морем и Океаном, между Альпами и Пиренеями, на перекрёстке европейских путей — предопределило её роль в истории Европы. Галлия — «страна перешейков», «широкий порог между двумя морями», и это её положение делает её одновременно и желанной добычей для завоевателей, и естественным центром для объединения.

Блок 2: Лигуры и греки (главы IV–V)

Глава IV «Лигуры» — одна из самых значительных в томе. Жюллиан развивает теорию о том, что до прихода кельтов население Галлии говорило на едином лигурийском языке, следы которого он находит в топонимике — названиях рек, гор, источников. Он анализирует сотни названий, стремясь доказать их общее происхождение: например, названия типа *Divona* (от корня *div-*, «священный», «божественный») встречаются по всей Франции — в Бордо (Девез), в Ниме (нимский источник), в Женеве (Женевское озеро). Лигуры, по Жюллиану, — не единая раса, а «население», объединённое языком и образом жизни. Он описывает их физический и моральный темперамент: выносливые пешеходы, искусные прашники, упорные земледельцы,

но также «хитрые, как лигуры» (выражение, ставшее поговоркой у древних), склонные к разбою и пиратству.

Глава V «Основание Массилии» посвящена основанию Марселя фокейскими греками около 600 года до н. э. Жюллиан подробно анализирует традиционный рассказ об основании города — историю Протиса и Гиптис, дочери лигурийского царя Нанна, — и показывает, какие элементы этого рассказа могут быть историческими, а какие — легендарными. Он описывает топографию древнего Марселя, его первые отношения с туземцами, фокейскую талассократию (морскую империю) и её гибель после битвы при Алалии (535 г. до н. э.). Особое внимание уделено экономическим отношениям греков на Западе: торговле оловом и янтарём, монетному обращению, распространению греческих легенд в лигурийской стране.

Блок 3: Кельты и иберы (главы VI–VII)

Глава VI «Миграция кельтов» — центральная в томе. Жюллиан помещает прародину кельтов в низменностях Северной Германии, на островах и датском полуострове, на берегах Северного моря — во Фрисландии и Ютландии. Он объясняет исход кельтов сочетанием причин: рост населения, внутренние раздоры, нашествия соседей и, наконец, «бегство нации перед разливами моря или реки» — цунами, которые периодически опустошали низменные берега Северного моря. Кельты, по его мнению, не были «расой в движении»; это была «нация или лига ста племён», перемещавшихся вместе с женщинами, детьми, скотом и богами. Глава VII «Иберийские вторжения» описывает приход иберов с Пиренейского полуострова около 500–475 годов до н. э. и их расселение на юге Галлии — в Лангедоке, Руссильоне, Гаскони. Жюллиан подробно разбирает проблему происхождения басков, отвергая как теорию их исключительной древности, так и теорию их позднего появления: по его мнению, баскский народ сформировался из лигурийского субстрата, иберийского языка и политических условий (длительная независимость после падения Рима).

Блок 4: Галльские завоевания и Массилия (главы VIII–XII)

Глава VIII «Галльские завоевания в Европе» описывает экспансию кельтов за пределы Галлии: в Италию (взятие Рима в 390 г. до н. э.), на Дунай и Балканы (поход Бренна на Дельфы в 279 г. до н. э.), в Испанию, в Малую Азию (галаты). Глава IX «Галльская цивилизация вне Галлии» анализирует образ галлов у древних авторов: их физический облик, моральный темперамент, военные обычаи, религию, политические институты. Жюллиан показывает, что галлы не были «ужасными разбойниками», какими их изображали греки и римляне: они были варварами, похожими на многих других, а страх перед ними был во многом преувеличен. Глава X «Империя Массилии» описывает расцвет Марселя в V–IV веках до н. э., его колонии (Ницца, Антиб, Агд, Росас, Ампуриас), его торговлю, его монетную систему, путешествия Пифея и Эвтимена. Глава XI «Война Ганнибала» — самая драматичная в томе: она описывает переход Ганнибала через Рону и Альпы в 218 году до н. э., его попытку поднять кельтов против Рима и провал этой попытки. Глава XII «Галлия, оставленная галлам» завершает том описанием римской политики в отношении Галлии в первой половине II века до н. э. и положения Галлии накануне римского завоевания.

2.3. Ключевые идеи первого тома

Географический детерминизм. Жюллиан не был фаталистом, но он настаивал на том, что географические условия создают «рамки» исторического развития. Реки Галлии — Рона, Луара, Сена, Гаронна — образуют сеть путей, которые соединяют разные части страны и делают возможным её единство. «Из всех стран Запада Галлия была одной из тех, которые менее всего могли быть определены правильными формами геометрической фигуры», — пишет он. Её границы «волновались и возвращались», создавая «гармонично изрезанный фасад».

Лингвистическая реконструкция. Анализ топонимов для Жюллиана — не вспомогательный метод, а ключ к этнической истории. Названия рек и гор сохраняются дольше, чем имена народов: «люди приходят и уходят, миграции народов проходят и разрушают: но названия рек и гор остаются почти столь же неизменными, как их склоны». Лигурийские топонимы — *Divona, Garonna, Rodanus, Sequana* — это «первый фермент единства» Галлии.

Критика источников. Жюллиан постоянно сопоставляет тексты древних авторов — Геродота, Полибия, Тита Ливия, Страбона, Диодора — с данными археологии и нумизматики. Он не доверяет слепо ни одному источнику: рассказ Тита Ливия о переходе Ганнибала через Альпы, например, он подвергает детальному анализу, отвергая предложенные ранее маршруты (Малый Сен-Бернар, Большой Сен-Бернар, Мон-Женевр) в пользу Мон-Сени — перевала, который, по его мнению, лучше всего соответствует топографическим деталям в текстах Полибия и Тита Ливия.

Антиколониальный взгляд. Жюллиан симпатизирует побеждённым. Лигуры для него — не «дикари», а народ с древней культурой, несправедливо оттеснённый завоевателями. Галлы — не «варвары», а народ с собственным пониманием жизни, религии, политики. Римское завоевание — не «цивилизаторская миссия», а трагедия, хотя и неизбежная.

2.4. Полемика с предшественниками

Жюллиан полемизирует с несколькими историографическими традициями:

- **С Амеде Тьерри** (1828), который считал галлов «кельтами» и видел в них предков французов, а лигуров — иберийскими завоевателями. Жюллиан, напротив, считает лигуров древнейшим населением Галлии, а кельтов — пришельцами с севера.

- **С Анри Мартеном** (1833), который рассматривал историю Галлии как предысторию Франции, но недооценивал значение доримского периода. Жюллиан настаивает на том, что Галлия до Рима — это не «варварство», а самостоятельный исторический мир.

- **С Моммзеном**, который в «Истории Рима» рассматривал Галлию прежде всего как объект римского завоевания. Жюллиан видит в Галлии активного субъекта истории, а не пассивный объект.

- **С современными ему археологами-«кельтоманами»**, которые преувеличивали роль кельтов и приписывали им все достижения древней Галлии. Жюллиан подчёркивает вклад лигуров, иберов, греков.

III. Обзор остальных томов

3.1. Том II: «Кельтская Галлия» (1910)

Второй том посвящён внутренней истории кельтской Галлии — той, которая существовала до римского завоевания. Жюллиан описывает политическое устройство галльских племён и народов, их институты (королевская власть, сенат, друиды), их религию, их экономику (земледелие, ремёсла, торговлю), их города и деревни. Он показывает, что кельтская Галлия не была хаотическим скоплением враждующих племён: она имела свои формы единства — федерации, союзы, религиозные центры (например, святилище друидов в лесу карнутов), общие обычаи и язык.

Особое внимание уделено «кельтскому миру» как особой цивилизации: искусству (латенская культура), религии (друиды, культ головы, священные рощи), военному делу (конница, длинный меч, боевые колесницы). Жюллиан спорит с теми, кто считал кельтов «варварами», лишёнными культуры: он показывает, что у них были свои города, своё искусство, своя поэзия, своя наука (астрономия, медицина, право).

3.2. Том III: «Завоевание Галлии Цезарем» (1911)

Третий том — рассказ о Галльских войнах (58–50 гг. до н. э.). Жюллиан подробно описывает кампании Цезаря: войну с гелльетами, поход против Ариовиста, завоевание Бельгии, экспедиции в Британию и Германию, великое восстание Верцингеторикса (52 г. до н. э.) и его подавление. Он анализирует как военную стратегию Цезаря, так и сопротивление галлов. Особое внимание уделено Верцингеториксу, которого Жюллиан считает подлинным национальным героем Галлии. Он также разбирает вопрос о численности галльских народов, о потерях в войне, о последствиях завоевания для разных регионов Галлии.

3.3. Том IV: «Римская Галлия» (1913)

Четвёртый том описывает установление римского владычества и административное устройство Галлии. Жюллиан анализирует реформы Августа, создание провинций (Нарбоннская Галлия, Аквитания, Лугдунская Галлия, Бельгика), систему управления (наместники, прокураторы, городские общины), налоговую систему, дорожную сеть. Он показывает, как римляне использовали существовавшие галльские структуры — города, племена, дороги — для управления страной. Особое внимание уделено Лиону как столице римской Галлии и центру императорского культа.

3.4. Том V: «Галлия под Римом» (1914)

Пятый том посвящён экономической и социальной жизни римской Галлии. Жюллиан описывает сельское хозяйство (виноградарство, хлебопашество, скотоводство), ремёсла (керамика, металлургия, текстиль), торговлю (внутреннюю и внешнюю), города (их планировку, общественные здания, бани, амфитеатры), население (его состав, численность, социальную структуру). Он показывает, что римское владычество принесло Галлии мир, безопасность дорог, единую монету и единое право — но также и налоговый гнёт, и культурную ассимиляцию.

3.5. Том VI: «Галлия и Рим» (1920)

Шестой том — о религии, культуре и интеллектуальной жизни. Жюллиан описывает галльские божества и их римские отождествления (Меркурий, Аполлон, Марс, Юпитер), восточные культы (Кибела, Исида, Митра), друидизм и его упадок, школы и образование, литературу и искусство. Особое внимание уделено «галло-римской» культуре — синтезу кельтских и римских элементов, который Жюллиан считает уникальным явлением.

3.6. Том VII: «Христианская Галлия» (1922)

Седьмой том посвящён распространению христианства в Галлии. Жюллиан описывает первые христианские общины (Лион, Вьенн), гонения (особенно 177 г. в Лионе), мучеников, становление церковной организации (епископы, диоцезы), монашество, христианскую литературу (Ириней Лионский, Иларий Пиктавийский, Сульпиций Север, Мартин Турский). Он показывает, как христианство постепенно вытесняло язычество и как церковь становилась главной силой в городах.

3.7. Том VIII: «Галлия и вторжения» (1926)

Восьмой том описывает кризис III века и начало варварских вторжений. Жюллиан рассказывает о нашествиях алеманнов, франков, готов, о «Галльской империи» (Постум, Тетрик), о восстановлении порядка при Диоклетиане и Константине, о новых вторжениях в IV–V веках, о падении римского владычества и установлении варварских королевств (вестготы, бургунды, франки). Последние страницы тома посвящены «концу римской Галлии» — моменту, когда античная цивилизация уступает место средневековой.

IV. Значение «Истории Галлии»

4.1. Научное значение

«История Галлии» Жюллиана — это первый в историографии опыт написания полной, систематической истории Галлии от древнейших времён до конца римского владычества. До него история Галлии была либо частью истории Рима (у Моммзена), либо частью истории Франции (у Тьерри, Мартена, Мишле). Жюллиан сделал Галлию самостоятельным предметом исторического исследования.

Его метод — синтез географии, филологии, археологии, нумизматики, эпиграфики — стал образцом для последующих поколений историков. Его топонимические исследования, его анализ лигурийского языка, его реконструкция кельтской цивилизации — всё это сохраняет ценность до сих пор, даже если отдельные выводы были оспорены или уточнены.

4.2. Идеологическое значение

«История Галлии» — это не только научный труд, но и идеологический проект. Жюллиан стремился дать Франции «национальную» историю, укоренённую в глубокой древности. Галлия для него — не просто географическое название, а первый этап французской национальной истории. Лигуры, кельты, иберы, греки, римляне — все они внесли свой вклад в формирование французского народа и французской земли. Эта идея — о том, что Франция имеет «глубокие корни», что её единство подготовлено самой природой и историей — была важна для французского общества после поражения 1870 года.

4.3. Ограничения и критика

«История Галлии» не свободна от недостатков. Жюллиан иногда преувеличивает значение топонимических данных, строит далеко идущие выводы на шатких основаниях. Его географический детерминизм может показаться чрезмерным. Его симпатии к побеждённым (лигурам, галлам) иногда приводят к идеализации их культуры. Некоторые его хронологические и этнические реконструкции (например, помещение прародины кельтов в Ютландию) были оспорены современной наукой.

И всё же «История Галлии» остаётся фундаментальным трудом, без которого невозможно представить современную историографию древней Франции. Это книга, которая соединяет эрудицию XIX века с историческим воображением, научную строгость с патриотическим чувством, анализ источников с синтезом. Она читается не только как источник фактов, но и как памятник исторической мысли — свидетельство того, как историк может превратить прошлое в живое наследие.

Заключение

Восьмитомная «История Галлии» Камиля Жюллиана — это труд, который стоит на границе двух эпох: эпохи классической эрудиции XIX века и эпохи современной междисциплинарной истории. Жюллиан собрал, систематизировал и интерпретировал огромный материал — тексты, надписи, монеты, археологические находки, топонимы — и создал из него связное повествование о стране, которая стала Францией. Его метод — соединение географии, филологии, археологии — сохраняет свою ценность и сегодня. Его идеи — о роли географической среды, о значении доримского наследия, о синтезе культур — остаются предметом дискуссий.

Первый том, «Галльские вторжения и греческая колонизация», занимает в этом труде особое место. Это не только начало повествования, но и методологический манифест: здесь Жюллиан формулирует свои принципы, определяет источники, очерчивает границы исследования. Здесь он ставит вопросы, на которые последующие тома должны ответить: кто такие лигуры? откуда пришли кельты? как возникла Массилия? почему Галлия стала римской? Ответы, которые он даёт, могут быть оспорены, но сами вопросы остаются центральными для понимания древней истории Европы.

«История Галлии» — это книга, которую можно читать по-разному: как справочник, как историческое повествование, как памятник национальной историографии. Но в любом случае она остаётся одним из великих трудов французской исторической мысли — наряду с «Историей Франции» Мишле, «Древним городом» Фюстеля де Куланжа и «Картиной географии Франции» Видаля де ла Блаша.

ГЛАВА I. — СТРОЕНИЕ ГАЛЛИИ [1]

I. — ПРОТЯЖЁННОСТЬ И ХАРАКТЕР ЭТОЙ ИСТОРИИ

Название Галлия обозначало у древних страну, заключённую между Средиземным морем, Альпами, Рейном, Океаном и Пиренеями [2]. Именно об этой стране я намереваюсь написать историю — примерно с 600 года до Рождества Христова до приблизительно 400 года нашей эры.

Первая из этих дат — дата древнейшего события, о котором сохранилось точное воспоминание: основания Массилии. И это событие лишь совсем немного предшествует переселению народа, которому суждено было дать стране своё имя, — кельтов, или галлов. Почти одновременное прибытие кельтов и греков — последних варварских завоевателей, пришедших с севера, и первых колонистов, высадившихся на юге, — вот естественная отправная точка этой истории.

Она может завершиться тысячелетием позже. В пятом веке утверждение германцев, торжество христианства, господство франков создают новые обычаи у людей и возвещают новый способ именовать страну.

Написать историю Галлии [3] — значит рассказать и объяснить перемены, произошедшие в облике почвы и в образе жизни и мышления обитателей. Мы не будем отделять изучение человечества от изучения земли, которая его питает. Расчистка большого леса, осушение обширного болота имеют в судьбах обществ почти такое же значение, как политическая революция или литературный шедевр. Не менее полезно знать, как население делило и возделывало землю, чем то, как оно обратилось в новую религию. Распространение культуры, строительство длинной дороги, формирование столичного города влекут за собой последствия столь же прочные, как война или закон. Историк, следовательно, должен рассматривать отношения человека с почвой, которую он населяет, на тех же основаниях, что и отношения людей между собой.

Он должен делать это тем более, что эти отношения обычно определяются самой землёй. — Почти все войны, каким бы благородным предлогом они ни оправдывались, рождаются из коллективных вожделений, возбуждённых частями этой земли. Удавшиеся революции — те, что меняют хозяев почвы. Именно по естественным путям регулируется торговый обмен; по ним же объясняется большинство крупных городов, где сосредоточивается труд рук и мысли: города-матери древней Галлии и современной Франции — Лион, Париж, Марсель, Бордо, Нарбонна, Трир — выросли лишь потому, что их обитатели приспособили свою жизнь к качеству почвы и положению места. Нет даже религии, сколь бы чистой её ни объявляли жрецы, которая не отражала бы земной горизонт и привычки глаз: после великолепных взлётов в невидимый идеал самые могущественные боги сами приходят закрепиться на вершине или явиться близ источника. Наконец, характер и роль народа зависят от ценности почвы, которую он возделывает, от места его страны в мире и от самого строения этой страны: строением я называю её форму, соотношение её частей и природу её границ.

II. — ГРАНИЦЫ И ФОРМА ГАЛЛИИ

Если естественные границы страны — это обширные неровности почвы, которые её изолируют и защищают, то Галлия была, по-видимому, столь же чётко ограничена и столь же защищена, как островная Британия и как полуострова Испания или Италия. Море служило ей границей на половине её периметра [4], и это было почти всегда, на севере, как и на юге, море без видимого конца, занимающее весь горизонт. Она опиралась на самые высокие и самые массивные горы всей Европы [5]. Река, окаймлявшая её, была важнейшей на Западе [6] по своей длине и ширине русла: Галлия была замкнута и укреплена природой, говорили древние,

с подлинным искусством [7]. — Мы увидим далее, было ли это творение столь совершенным, как им нравилось утверждать [8].

Очертания Галлии были одновременно разнообразны и точны. Изящное разнообразие оживляло её границы. Великобритания имеет для своего замыкания лишь море. Испания и Италия — это полуострова, припаянные к континенту вдоль линии, прямой или кривой, образуемой стеной гор. Вокруг Галлии текучая вода, горы и море чередовались, образуя непрерывный и изменчивый пояс.

Ориентация границы менялась так же часто, как и её облик. — Проследим её, отправляясь от Монако, с этого подъёма Ла-Тюрби, который отмечал точку, где цепь Альп угасает на берегу Внутреннего моря [9].

С востока на запад средиземноморское побережье предстаёт в виде двойной кривой. Сначала вздутое к югу, оно выдвигает в Сардинское море [10] острые гребни своих мысов и выемки своих бухт [11]. — Затем, близ Марселя, оно отгибается к северу [12], возвращая внутрь земель длинную линию, низкую и правильную, белую и песчаную [13], Галльского залива [14] и Нарбоннской области.

Когда, за этим городом, берег упорно спускается к югу, к африканским землям, тогда приближаются Пиренеи, показывают сосновые леса своих вершин [15], соединяются в равнине Эльн со Внутренним морем и сменяют его в качестве границы. Отныне именно их непрерывная цепь [16] продолжит на западе южное замыкание Галлии. — Но, как бы давая предчувствовать близкую перемену в направлении границы, линия, отмеченная гребнем гор, слегка наклоняется к северу [17].

Примечательная вещь! Оба южных основания Галлии, столь различные по природе, имеют приблизительно одинаковую длину. 94 лье по прямой линии от одного конца Галльского Средиземноморья до другого, от Монако до мыса Сербера [18]: между двумя оконечностями пиренейской границы — лишь на 10 больше [19]. Ибо в тот момент, когда горная цепь, превысив эту длину, непомерно растягивается к самому дальнему западу, она пересекает Атлантический океан, так сказать, спустившийся с севера ей навстречу, и граница Галлии покидает Пиренеи, чтобы принять вместе с морем новый наклон. От мыса Фигье [20], из глубины большого Галльского залива, или Аквитанского океана [21], до устьев Рейна Внешнее море, или Великое море [22], отмечает на западе и севере конец земель Галлии. Но на 680 лье океанского периметра [23] это почти на каждом дне плавания новый облик и новый поворот берега [24].

Минуя эти мысы и бухты пиренейских басков, напоминающие на другом конце Франции блестящие карнизы и чёткие изрезанности провансальских Альп, на север тянется золотая полоса высоких песчаных дюн [25], едва прорезанная неопределённым устьем Адура [26] и скромным проходом Аркашонского бассейна [27]. Это самая длинная прямая линия галльской границы, единственная поистине монотонная, исключение в чертах гармоничного облика нашей страны.

Но за широким разрезом Жиронды [28] извилины возобновляются, берега отклоняются к северо-западу [29], и в их изгибах бухты и эстуарии обрамляются скалами или утёсами либо исчезают на илах болот [30]. — На высоте мыса Сен-Матьё [31] эта западная сторона Галлии почти достигает длины южного основания: тогда, как раз вовремя, чтобы proportions рамки сохранились, берег возвращается к востоку, и армориканский полуостров, выдвинутый в Океан, остаётся выступающим, как крыло большого здания [32].

Галльский берег Британского океана [33] имеет ту же протяжённость, что и берег Аквитанского залива, который мы только что покинули; но он бесконечно более разнообразен, и это, пожалуй, самый изменчивый берег внешней Европы. Сначала он прямо идёт на восток, затем внезапно отбрасывается на север, посылает против Великобритании полуостров Котантен, потом снова поворачивает, чтобы проникнуть в Сену, вновь приближается ломаной линией к соседнему острову, почти касается его и наконец навсегда от него удаляется, чтобы затеряться

в лабиринте островов Мааса и Рейна. Но поскольку он постепенно поднимается к северу[34] и непрестанно наклоняется к востоку, он приобретает вид стороны фронтона[35], линия которого получила капризные зубцы[36].

Устье Рейна[37] было самой северной оконечностью Галлии, как мыс Сербера — самой южной: и эти две точки, в силу новой симметрии, находятся почти на той же долготе, что и центральная ось страны[38].

Рейн, от Северного океана[39] до излучины Майнца, образует, с гораздо меньшим изяществом, другую наклонную сторону фронтона, венчающего Галлию. Выше этой точки естественная граница идёт прямо на юг, всегда чётко отмеченная прямым течением и широким руслом реки. Но за базельским дефиле она теряется в хаосе гор и водотоков высоких гельветских земель: на этом центральном участке восточной границы природа, смутная, не предлагала ничего, что могло бы ограничить народы и направить географов, и те и другие могли колебаться между входящей линией Юры и выдвинутой полулуной контрфорсов, окаймляющих верхний Рейн[40]. Истинная и чёткая граница Галлии вскоре вновь находилась у горы Адула, истока Рейна[41], и у Колонны Солнца, истока Роны[42]; и с этого момента, более сильно отмеченная, чем где-либо, она следует по валу Альп до самого последнего своего карниза, в виду Внутреннего моря. И эта восточная граница, начавшаяся в смутном уголке, где Рейн смешивает свои болота с водами Северного моря[43], заканчивалась у точного и изрезанного мыса, где скала Альп нависает над Южным морем.

Древние географы говорили, что Галлия заключена, как четырёхугольная поверхность, между четырьмя линиями, которые шли от мыса Сен-Матё до конца Рейна, от Приморских Альп до Аквитанского залива[44]. Но внутри этого идеального рисунка — непрестанное чередование кривых и изломов. Из всех стран Запада Галлия была одной из тех, которые менее всего могли быть определены правильными формами геометрической фигуры[45]. О Великобритании говорили, что она похожа на треугольник[46]; Италия наклоняла к юго-востоку свои параллельные линии[47]; Испания имела массивный вид широкой бычьей кожи, нелепый пятиугольник, прикреплённый к Пиренеям[48]. Но если границы Галлии никогда не отклонялись от центра и теоретической оси[49], их волнения и возвраты придавали стране, которую они обрамляли, вид гармонично изрезанного фасада.

III. — КРАЙНИЕ УГЛЫ

Есть определённые уголки земли, где наблюдатель мыслящий и прохожий обыденный одинаково воспринимают ощущение встречи двух разных миров. Крайние углы Галлии были именно концами земли. В Арморике мыс Раз отмечает смерть самого человечества, в этой бездне со страшными шумами, где, кажется, приоткрываются нижние области, и древние помещали поблизости одну из угловых колонн, на которых небесный свод покоится на полу земли [50]. В тени мыса Фигье видны справа и слева противоположные берега Франции и Испании, которые расходятся и убегают в противоположных направлениях: и во время частых западных штормов, когда все ветры открытого моря вырываются в Бидасоа, воздух и Океан смешиваются, чтобы разделить две страны [51]. Со стороны Внутреннего моря масса выступающих скал, которые Пиренеи бросают в волны мыса Крё [52], скрывают друг от друга Галльский залив и Балеарский залив. На провансальском берегу именно у подъёма Ла-Тюрби и мощного крупа скалы Монако гостеприимные берега и счастливые долины южной Франции уступают место каменистым оврагам и нечеловеческому берегу итальянской Лигурии [53]. Наконец, какие разные облики земли близ устьев Шельды! На западе — прямой и видимый берег, ещё усеянный холмиками задний край; на востоке — почва, кажущаяся импровизированной, ниже самого моря, незавершённый мир островов, вод и болот, который едва можно отличить от волн, его подавляющих, и от тумана, с которым он сливается: и те, кто там обитал, казались последними из людей [54].

IV. — ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГОРЫ

То, что придавало Галлии её собственный характер, её физическую независимость, — это были не только чёткость и пропорции её границ: Испания тоже предстаёт в правильной рамке и точных пределах, и однако она — регион Европы с наименьшим единством. «Гармония Галлии, её изящество и сила зависели менее от рисунка её контуров, чем от рисунка её внутреннего строения, её гор и равнин, её долин и рек [55]: «Глядя на их расположение», — говорил Страбон [56], — можно подумать, что она — творение Провидения и продуманного расчёта, а не случайности».

С одной стороны, самые высокие горы Галлии, Альпы [57] и Пиренеи [58], находятся по краям её границ: главные вершины обеих цепей имеют высоту вдвое и втрое больше господствующих пиков центральной Франции. С другой стороны, самые мощные горы внутри страны — Мон-Дор, Мезенк, Лозер, Пюи-де-Дом или Вогезские Баллоны — имеют менее двух тысяч метров [59] и не знают вечных снегов: что делает их доступными для жизни, для прохода людей и для культа богов; их существование не отделяется от жизни подчинённых им равнин. Горная система Галлии предлагает ей, таким образом, двойной внешний вал, к которому она прислоняется, и избавляет её от больших срединных цепей, которые поставили бы между народами неудобные барьеры: она защищает её от внешнего мира, она не разрывает внутреннее сообщение.

Главный массив, которому древние давали имя Севенны [60], — это обширное основание высотой более пятисот метров, простирающееся между порогом Лорагэ и спуском Роны, между высокими долинами Вьенны и Соны. Он располагается, в виде эллипса с большой осью в 70 лье [61], почти в самой середине страны, как огромная платформа, которая была бы цитаделью Галлии.

Между этим плато и соответствующими высотами внешних цепей разворачивается непрерывное кольцо траншей и равнин, ширина которого почти никогда не бывает меньше десяти лье. Самый узкий разрез, южный (порог Лорагэ или перевал Науруз), — как раз самый низкий и самый лёгкий: и это не столько перевал между горами, сколько пролив плоских земель. Наименее глубокий разрыв, северный (Осуа, плато Лангр, Фосилль), предлагает на обоих своих склонах мягкие склоны и удобные ложбины [62].

Горы, собственно принадлежащие Галлии, господствуют, следовательно, над всеми её долинами, но позволяют им сообщаться между собой. Они не раздробляют страну, как Апеннины раздваивают полуостровную Италию, как плоскогорья Испании разрывают её на изолированные бассейны. Древние географы делали из Севенн хребет или гребень, который начинался от Пиренеев и заканчивался у излучины Роны [63], и это действительно направление, которого следует гребень водораздела. Но выражение было неточным: они слишком стремились найти в Галлии длинные непрерывные цепи, подобные тем, что пересекали Италию и Грецию. Хребет — это ось тела: Севенны были ядром, вокруг которого располагались террасами равнины.

V. — ИЗОЛИРОВАННЫЕ МАССИВЫ

Центральный массив образовывал, таким образом, мотив единства: он был мощным элементом координации галльских земель. Все моря, омывавшие страну, получали воды, пришедшие с плато Оверни: Лион и Париж, Арль и Руан, Нарбонна, Нант и Бордо частью связаны с горами центра.

Но внутри ограды, которую древние отводили Галлии, поднимались другие горные тела: — Это были сначала выдвинутые ветви самих пограничных цепей — Юра и её плато [64], Корбьеры и Малые Пиренеи, Альпы Дофине и Альпы Прованса [65], которые все покрывают широкую поверхность страны. — Затем это были два изолированных массива, близ берегов и рек, наиболее удалённых от центрального поднятия.

На северо-востоке, — слева от этой долины Рейна, которая, начавшись от самой эксцентричной точки Галлии, стремится как можно дальше уйти от французского Океана, — возвышаются по обе стороны срединной линии Мозеля здесь цепь Вогезов [66], а там Высо-

кая страна, которую вздымают непрерывные леса Арденн [67]. Эти две группы возвышенных земель, Арденны и Лотарингия, скорее соединённые, чем разделённые узким коридором длинной реки, образуют между Рейном и Шампанской равниной, между фламандскими болотами и брешей Бельфора мощный автономный регион, имеющий, как Центральное плато, свои изолированные вершины, свой правильный пояс борозд и свою речную сеть, направленную к северу [68].

На северо-западе выдвинутый полуостров Арморика [69] обладает своей горной цепью и своими реками, без связи с массивом и долинами центра Франции: так же как, отброшенный далеко на запад, он имеет своё особое море и свой океанский горизонт.

Но горы Арморики и мозельская система — мало что по высоте и протяжённости; они имеют в своей зависимости лишь небольшое число долин и лишь самые узкие или наименее счастливые равнины Галлии. Если они находятся на оконечностях страны, они связаны с центром лёгкими путями. Арморика начинается в той самой точке, где заканчивается Луара, диагональная река Галлии. Вогеzy соединяются с плато Лангр через порог Фосилль, и, хотя их воды относятся главным образом к великой северной реке, они дают начало Соне [70], этому крайнему истоку французского бассейна, который наиболее обращён к югу. Наконец, пограничные цепи — Юра, Альпы и Пиренеи — спускаются к руслу великих галльских рек и идут навстречу склонам, идущим от Севенн. — Все эти внешние массивы смогут стать, по отношению к собственно Галлии, островками отдельной жизни: но они никогда не будут центрами соперничающей жизни, причинами непоправимого раздробления.

VI. — РАВНИНЫ: ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ЗЕМЛИ

Массивы, а не цепи, горы Франции больше походили на донжоны, чем на барьеры [71]: и в этом было их главное преимущество. У них было и другое, ещё более важное для общественной жизни: они не были ни непрерывными, ни компактными, позволяли разрезать себя глубокими долинами или широко открытыми равнинами. — Совершенное равновесие и точная пропорция между высокими землями и низкими землями — одна из господствующих черт рельефа Галлии и, как сказали бы древние, одно из благодений природы, её создавшей [72].

Каждому горному телу соответствует почти равная протяжённость выровненной почвы. Центральный массив соединяется с тремя великими равнинами Парижского бассейна, долины Луары и Жирондской Аквитании. Пиренеям отвечают Ланды и Нижний Лангедок; Альпам — впадина Роны; Юре — бургундские земли Соны. Эльзас обращён к Вогезам, а Фландрия — к Арденнам.

Нет даже самых малых гор, у которых не было бы своих компенсирующих равнин. Горы Арморики обрамлены нижними землями; холмы Нормандии фланкируют открытые ложбины Кальвадоса, а холмы Перша соседствуют с равниной Бос. Вдоль ванзейских болот наклоняются высоты Гатин, Альпины замыкают горизонт перекрёстков Роны, и, господствуя над низкими землями, которые покрывает Париж, возвышается Мон-Валериан.

Мощные пограничные цепи пробиты, с интервалом в один-два дня пути, траншеями, достаточно плодородными, чтобы приютить и прокормить племена людей [73]. В больших галльских Альпах долины Вара, Барселоннета, Кейра, Бриансонне, Морьенна, Тарантеза, Фосиньи и Вале чередуются регулярно с тяжёлыми массивами вечных снегов. Северные Пиренеи изрезаны на два десятка параллельных коридоров, через которые проникают до подножия самых высоких вершин луга, сады и посевы.

Массивы средней и восточной Галлии прорезаны ещё более глубокими трещинами. Между поднятием Вогезов и поднятием Арденн тянется, зелёный и плодородный, разлом Мозеля на протяжении 128 лье. Центральное плато разрезано надвое долинами Дён и Бурбенс, которые чётко отделяют Морван от арвернско-севеннского блока. Внутри самого этого последнего, вдоль Луары, Алье, Крёзы, Вьенны, Везера, Дордони, Ло, Тарна и Ардеша, длинные полосы равнин разрезают лучи веера; и, — что, пожалуй, самое поразительное из контра-

стов французской почвы, — в самом сердце Севенн, у подножия одной из их главных вершин, в рамке, образованной самыми хаотичными высотами Галлии, простирается равнина Лимань, самое ровное, самое богатое, самое весёлое зелёное озеро всей Франции [74].

Этот контраст мы наблюдаем, в меньших пропорциях, почти на всех точках нашей почвы. Будущие столицы Галлии имеют одновременно свои холмы и свои нижние кварталы, свой акрополь и свою равнину. Фурвьер возвышается напротив болотистого слияния Перраш; гора Сент-Женевьев отбрасывает свою тень на Сите; склоны Лормона и Сенона угрожают Бордо с противоположного берега реки. Видимый с открытого моря, район Марселя кажется лишь скоплением острых и бесплодных скал, приоткрытых только для того, чтобы дать место спокойным водам фокейского порта: но стоит приблизиться к берегу, и замечаешь у самого подножия холма, замыкающего порт с юга, гораздо более глубокую выемку — долину Юво [75], чья равнина наносов издавна расстилает свои луга и фруктовые деревья между сероватыми вершинами последних Провансальских Альп [76]. Так что почти нигде региональная жизнь не состоит исключительно из равнины или горы, и эта смесь, которая есть выражение разнообразия в природе, будет в Галлии одним из главных условий общественной организации и человеческого прогресса. Деление земель Франции на высокие и низкие — то, которое встречается чаще всего и наиболее оправдано.

Два региона являются исключением в этом отношении. Между Жирондой и Адуром простирается песчаная равнина Ландов, где на 25 лье старой римской дороги от Бордо до Дака утомлённый взгляд терпит один и тот же монотонный горизонт папоротников, вересков, дрока и сосен. На границе северо-востока, от Брюгге до Неймегена, опускаются, всё более расширяясь, пустоши, торфяники и болота страны Ваэс, Кампины и Пеля, и в течение 50 лье на путешественника давит мрачное впечатление влажных низин и спящей природы. В этих двух регионах равнина царит как бесплодная госпожа. Но они были один и другой на крайних углах Галлии.

VII. — ВЕЛИКАЯ РЕЧНАЯ СЕТЬ

Эти горы и эти равнины составляли неподвижное владение людей, их жилища и их посевы; реки прокладывали первые дороги и регулировали отношения между племенами.

Направление и взаимные отношения рек считались в древности шедевром галльской почвы [77], и современные географы не опровергли восторга древних. Греки и римляне, пришедшие к Элладу без рек, к Испании и полуостровной Италии с тупиковыми долинами, к Египту и Циспадании, которые были creations одной реки, были изумлены [78], встретив в Галлии пять великих водотоков почти равной длины, сеть речных путей, охватывающую всю страну, борозды, полные волн, которые, открываясь в расходящихся направлениях, всё же дополняли друг друга и, казалось, продолжались. Ибо что делает важность реки как пути людей — это не столько наклон её русла и объём стока, сколько направление и место её долины: будь она судоходной или нет, она — дорога, даже когда не несёт.

Рона [79], великая кельтская река Внутреннего моря, могла рассматриваться как ось жизни всей галльской страны [80]. Вместе с Соной [81], своим естественным продолжением [82], она имеет от Пор-сюр-Сон до моря 125 лье по прямой, и это самая длинная полоса широко разлившейся воды, какую представляет вся Галлия. — К северу от верхней Соны, если не считать перерыва, отмеченного порогами очень умеренной высоты, эта долина продолжается двумя другими великими речными путями, которые тоже идут прямо с юга на север: Мозелем [83] за Фосилль [84]; Рейном [85] за брешей Бельфора. — На юге, после арльской развилки [86], долина Роны сливается с удлинённой равниной Нижнего Лангедока, где заканчивается течение Од [87], самой южной из полезных рек Галлии. — Таким образом, от дельты Рейна, отмечающей восточную оконечность северной Галлии и её внешнего Океана, до равнины Русильона, заканчивающейся на западе южную Галлию и её Внутреннее море, широкий обходной путь шёл без препятствий вокруг центральных гор [88]. И это была одна из самых велико-лепных дорог, которые природа проложила для народов в движении: я бы даже сказал, самая

прекрасная во всей Европе, если бы не дорога Дуная, которая в юго-восточном направлении соответствует галльской артерии, обращённой к юго-западу. Возможно, именно удобство этого пути, почти всегда сопровождаемого глубокими и обильными водами, заставляло рассказчиков легенд верить, что смелый корабль мог, поднимаясь по Роне, проникнуть до Океанской реки [89].

На первый взгляд, подобного пути не доставало на западе Галлии. Внешний склон содержит три долины, все перпендикулярные к роданской оси. Но это лишь кажущееся расположение. С этой стороны течения рек или их притоков всегда предстают так, что образуют в действительности секторы одного пути, начинающегося от тулузской излучины Гаронны, чтобы закончиться у вод Мааса. — Гаронна [90], действительно, всегда наклоняется к северу; пуатевинский порог, отделяющий её воды от вод Луары, не имеет никакой неудобной высоты; Луара затем приближается, через изгиб своего среднего течения, к бассейну Сены, и единообразная Бос, кажется, соединяет и смешивает обе долины; близ Парижа, наконец, русло Уазы, продолженное за вермандуаским порогом руслами Самбры [91] и Мааса, завершает обозначение великой западной дороги.

Эти два пути по долготе — верховные линии Галлии. На севере они соединяются и сливаются в мозельском архипелаге. В центре, на юге они постоянно пересекаются долинами по широте, которые соединяют земли и воды средиземноморского склона с самыми противоположными берегами Галльского океана. — Я говорю «самыми противоположными»: ибо Гаронна, Луара и Сена, которые образуют или продолжают эти поперечные пути, оказываются и параллельными, и разделёнными одна от другой равными промежутками, и завершёнными на трёх главных фронтах Атлантики, как будто чтобы оставить как можно меньше берегов вне их влияния [92]: Гаронна приходит к оконечности прямолинейной полосы дюн [93], Луара — к самому основанию армориканского полуострова, Сена — в самую середину Британского океана. — Но поскольку Галлия занята в центре поднятием толстых гор, можно было опасаться, что оно станет препятствием для встречи путей. К счастью, три океанские долины проникают в него очень глубоко, и лёгкие перевалы продолжают их через линию гребня до роданской траншеи [94].

Уже говорилось о перевале Науруз или Лорагэ, между Од и Гаронной, самом чётко очерченном, самом низком, самом весело обрамлённом из всех порогов, соединяющих воды двух морей: это поистине одна из добродетелей французской почвы — этот чудесный проход, где путешественник, без усталости подъёма, не видя даже изменения оттенков неба и линий горизонта, покидает мир Средиземноморья ради мира Океана [95]. — На севере пути плато Лангр, пути Осуа, Уш, приближенная к Арру, Дён, касающийся Бурбенс, мешают горам центра образовать компактную массу с Морваном и Вогезами и открывают доступ к Роне путешественникам из Марны, Сены [96] и Луары. — В самом сердце великих гор долина этой последней вводит свои верхние притоки, которые пробивают бреши в скальной массе, вырезают ступени, по которым человек может подняться, чтобы спуститься к землям востока и юга. Между форезской Луарой и подступами к лионскому слиянию возвышается здесь крутой подъём от Роана к Тарару, великий лионский проход [97], а там врезается у подножия Мон-Пила шумный коридор Жареза [98]. Ещё южнее истоки вelayской Луары почти касаются истоков Ардеша и его притоков, которые низвергаются потоками к Авиньону и Арлю, последнему месту встречи роданских вод; и если между теми и другими есть трудное восхождение на перевалы, вроде перевала Паль [99], это дело, в самую суровую зиму, нескольких часов страдания. Даже на этом пункте стена Севенн представляла проходимую бойницу [100].

Такова, в этом отношении, особая роль Луары [101]. Она одна из всех французских рек проникает далеко в горную цитадель центра; она одна также приближается одновременно к самым разным регионам роданской долины — к Дижону, Макону, Шалону, которые командуют на севере этой долиной, к Лиону и Вьенну, которые отмечают её центр, к Авиньону и Арлю,

которые господствуют над ней на юге. Эта же Луара, которая из всех галльских рек была наиболее постоянно в связи с великим восточным течением, примиряла на западе долины севера и юга, Сены и Гаронны. И наконец, её устье удалялось более, чем любое другое, к западу, привлекая к своей долине крайние земли Арморики. Из водотоков Галлии Луара была той, которая более всего служила связи страны.

Как же не восхищаться, говорил географ Страбон, этим совершенным согласием и почти этим договором между реками и между морями? Это была земля, и он повторял это, счастливых расположений. Ни одна не была построена по более правильному плану, в столь полном единстве [102].

VIII. — ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ДОЛИНЫ

Вне этой координированной сети Галлия обладала несколькими второстепенными реками, расположенными на оконечностях страны, долинами, отделёнными от правильной рамки, образуемой великими речными путями: Адур [103], который окаймляет одновременно равнину Ландов и последние склоны Пиренеев; прибрежные реки Руссильона [104] и Прованса [105]; малые реки и ручьи Арморики [106]; и обширный бассейн Шельды [107]. — Можно отстранить водотоки Пикардии и Нормандии [108], чьи русла сходятся к бухте или притокам Сены, а также те, что между Роной и Од, принадлежащие к тому же бассейну, что и их два мощных соседа [109]. Можно также не говорить о Шаранте, которая переплетается близ пуатевинского порога с притоками Луары и Гаронны [110].

Но другие малые долины, которые все касаются границы, обслуживают области, наиболее удалённые от центра. И эти области, кроме того, по разным причинам уже предрасположены к изоляции: Арморика — Океаном, который её окружает; Руссильон — Альбарами и Канигу; Прованс — своими Альпами и их зависимостями; бассейн Адур — необъятностью равнины и леса Ландов; бассейн Шельды — протяжённостью своих болот.

Однако даже в этих крайних углах Галлии эти далёкие долины связаны с великими центральными путями вполне доступными дорогами. Шельда начинается от вермандуаского порога и может казаться притоком Мааса или Рейна [111]. Армориканская Вилен приближает своё устье к устью Луары [112]. Адур объединяет в одной равнине свои притоки и притоки Гаронны. И, — что является одним из самых счастливых сочетаний нашей почвы, — Аржанс и Арк, эти реки-близнецы Прованса, разрезают надвое южные Альпы длинной прямой и горизонтальной линией, которая прикрепляется с одной стороны к порту Фрежюс, а с другой спаивается с равниной арльского перекрёстка [113]. — Таким образом, как только в Галлии констатируется элемент разделения или раздора, тотчас появляется центробежная причина, которая с ним борется и восстанавливает равновесие.

IX. — ГЛАВНЫЕ МОРСКИЕ РЕГИОНЫ

Море, его берега, его мысы и острова — тоже элемент автономной и отдельной жизни. У него, как и у земли, есть свои дороги и перекрёстки, хорошие и плохие страны, то есть воды одиночества и воды притяжения. Плохие морские страны — это волны, которые сотрясают пляжи ландских песков, без открытия и без кривой, те, что разбиваются о скалы и головы рифов бухты Кальвадос, или те, что умирают на беловатых стрелах, замыкающих лагедокские пруды. Счастливые регионы — это малые моря, наполовину закрытые, которые округляются между гостеприимными берегами и защитными островами, какими были окрестности Тира или Гадеса, Карфагена или Пирея: своего рода водные равнины, одновременно открытые и укрытые, которые давали людям и кораблям ту безопасность и ту смелость, из которых рождаются морские империи.

Берега Галлии предлагали три или четыре таких резиденции, предназначенных для владык моря.

На Средиземном море это был марсельский бассейн. Между маяками двух скал открывается канал, узкий и извилистый [114], который ведёт к глубокому и правильному порту [115],

длинному и широкому, с вечно спокойными водами, который холм в форме театра защищает от северо-западного Мистралья [116]; перед проходом, обращённые к открытому морю, выстраиваются острова Помег и Ратонно, чтобы защитить входные пути от самых сильных штормов и отвести опасности, идущие от людей [117]. Это был один из тех портов убежища, спасения и радости, о которых мечтали моряки древности и о которых они говорили в своих рассказах или песнях, что волны там никогда не поднимаются и что они — империя прозрачного покоя [118].

Владения Атлантики могли быть разделены между тремя верховными заливами. — На высоте Шаранты берег делает выемку, чтобы дать место море Сентонж, окаймлённому мощным поясом островов Ре и Олерон [119], которое Ла-Рошель наблюдает и которым управляет из глубины своей бухты и у подножия своих утёсов [120]. — От Крузика до Киберона, позади Бель-Иля и длинной цепи островков [121], Морбиан открывает морю свои проливы и свои впадины; и с его чередованием грозных течений и абсолютного сна он кажется самым образом жизни моряка, состоящей из смелых походов и доверчивого отдыха [122]. — Между Арморикой и Котантемом бухты Сен-Мало и Мон-Сен-Мишель, издалека управляемые архипелагом Нормандских островов, также могут дать начало морской родине [123].

Но даже на море эти далёкие родины не могут жить отдельно от французского целого. Очень близкие речные пути побуждают морские народы искать свои интересы в самом центре Галлии. Марсельский порт находится напротив, в десяти лье расстояния, от грау Великой Роны [124]; море Сентонж — преддверие Жиронды; рыбаки Морбиана разбогатеют лишь в том случае, если Луара предоставит им выходы своей долины.

Х. — ГЛАВНЫЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ. СЕВЕР И ЮГ

Несмотря на всё, было естественно, что силы сцепления, которые столь мощно сжимали центральную массу Галлии, действовали слабее на оконечностях: горные регионы Альп и Пиренеев, Прованс и армориканский полуостров, равнины Гаскони и Фландрии, земли двойного мозельского массива были предназначены следовать лишь издалека и иногда не чувствовать импульсов, идущих из внутренней Галлии. Они всегда будут последними в периоды политической концентрации.

В самом теле центрального здания направление водотоков и природа почвы могли определять у жителей отдельные интересы и различные тенденции — источник прочных соглашений и автономных государств. Достаточно бросить взгляд на разумно сделанную физическую карту [125], чтобы тотчас уловить географические причины великих региональных группировок [126]. — Слева и справа от Луары два плато, Оверни и Морвана, возвышаются как вечные соперники, оба господствуя на востоке над роданской долиной, но на западе наклоняясь в разные стороны: Овернь — к Луаре, Морван — к Сене. Аквитанская равнина с её сходящимися реками [127], которые сливаются в одну морскую руку; Парижский бассейн с лучевым расположением его речных путей [128]; долина туренской Луары с двойным веером Мена и левых притоков [129] — всё это естественные регионы, каждый со своим центром, своими собственными путями, своим смутным поясом. Равнина нижней Роны и равнина Од, обращённые друг к другу, связаны одна с другой кривой своего берега и дорогой у подножия гор. То же самое с долинами Кальвадоса и нижней долиной Сены, которые обрамляют впадину нормандского залива. — Я говорю здесь только о самых обширных областях: Овернь и Бургундия, Иль-де-Франс и Нормандия, Анжу, Аквитания и Лангедок — почва Франции будет создавать и воссоздавать без конца эти региональные существа, и человек тщетно будет разрушать или расчленять творение природы: эти великие деления всегда будут появляться в истории.

Наконец, и это главный элемент реакции против единства Галлии, все регионы, заключённые между её пределами, имели непреодолимую тенденцию группироваться в две зоны по широте — на Север и Юг.

Сближение по долготе никогда не было во Франции чем-то иным, кроме поверхностного и преходящего. Все государства, к которым оно дало начало, — Лотарингия, Анжуйское госу-

дарство, Бургундская империя — имели лишь шаткое существование, потому что не соответствовали ни общим интересам, ни одинаковым привычкам, потому что противоречили естественному расположению, разрезам и нормальным дорогам нашей почвы. Напротив, регионы одной широты, даже под разными властителями, часто считали себя солидарными, были расположены к согласию, привыкали говорить на одном языке, видеть жизнь одинаково. Образовывались в определённые эпохи, очень далёкие одна от другой, дух Севера и дух Юга, как если бы две великие родины, созданные из противоположных чувств и враждебных намерений, были возможны в границах Галлии.

Главная причина этой группировки по широте, которая навязывается почти всем народам Европы, — очевидно, климат с его последствиями для облика неба, произведений почвы, способов материальной жизни и самого нрава людей. Юг в Галлии был страной ясных горизонтов, синих оттенков неба и моря, сухих земель и постоянной зелени, жизни на открытом воздухе и виноградника на открытой почве: как бы далеки ни были Пиренеи от его жилища, лигуриец из Ниццы может вспомнить родную землю, когда едет вдоль мысов Страны Басков или Руссильона. Север имеет серость своих небес и своих волн, вечный страх непогоды, свои влажные земли и свои тучные пастбища, свои напитки из плодов, созревших почти без тепла: Фландрия, Бретань и Нормандия смотрят на одно и то же море и требуют от своих земель одних и тех же культур [130].

Это противопоставление, которое климат может создать между северными и южными областями, было усилено в Галлии расположением долин и направлением естественных путей.

Юг — это также путь Роны, Од и Гаронны, которая погибает у подножия Севенн и разворачивается без препятствий от Вьенна до Авиньона и Марселя и от Арля до Тулузы и Бордо; это регионы лёгкой и радостной жизни, которые шумят вдоль великого прохода, укрытые от севера самыми высокими галльскими горами: непрерывное движение людей, приятность пути и страны, привычка к одному небу и использование похожих земель — всё там развивало инстинкты соседства, которые объединяют человеческие племена.

Север — это прежде всего широкая поверхность равнин, разворачивающаяся в огромной извилине от устья Луары до устья Шельды: но собственное сцепление северных регионов resides в устройстве бассейна Сены. Этот бассейн — во всей Галлии место концентрации речных путей, наиболее умело расположенное. Туда приходят эти пути со всех точек северной Франции: продолжите Марну или Об к западу прямой линией, и эта линия сольётся с долиной Луары и бретонским порогом; следуйте на север по направлению Уазы, и вы придёте через Самбру и Маас к болотам конца Галлии: эстуарий Сены находится точно на полпути между оконечностями Финистера и устьями Рейна.

В то время как земли Юга — лишь длинная борозда без иного единства, кроме единства их климата и их пути, земли Севера образуют сами по себе правильный ансамбль, координированную систему. Если на юге жизнь более интенсивна, то на севере больше согласия, сцепления и, следовательно, больше могущества.

Наконец, как причина противопоставления между этими двумя областями, следует в последний раз констатировать существование Центрального массива, чей обширный валик замыкает на севере земли парижского влияния и окаймляет на юге авеню, по которым следуют южные реки. — Однако, напомнив о препятствии, нужно тотчас вспомнить о быстроте, с которой его можно преодолеть, и о ещё большей лёгкости, с которой его можно обойти: так что между этими двумя противоположными и соперничающими областями повсюду предстают гостеприимные двери или широкие поверхности перехода; Пуату на западе, Бургундия на востоке и сам Центральный массив образуют естественную марку, которая сближает и примиряет Север и Юг галльской земли.

XI. — ЕСТЕСТВЕННЫЕ СТОЛИЦЫ ГАЛЛИИ: ЛИОН И ПАРИЖ

Из этого следует, что геометрический центр Галлии не станет центром её излучения, то есть её линий сближения и её естественных путей, её материальных интересов, её социальных соседств, слияния её мыслей. Из этого следует также, что в этой стране существует несколько великих перекрёстков, к которым люди направляются, чтобы понять друг друга и объединиться.

Геометрический центр будут искать в высокой долине Луары, там, где возвышались главные галльские города: Аварик, или Бурж, посреди беррийской равнины; Герговия, близ Пюи-де-Дом и Лимани и на дороге Алье; Бибракта, на горе Бёвре, на южном склоне Морвана, лицом к дороге Арру; Орлеан, наконец, или Генаб, на этой северной дуге Луары, где сами кельты помещали таинственный и священный пуп, середину всей Галлии [131]. Каждая из этих точек могла считаться примерно на равном расстоянии от всех границ и всех углов. Но если все четыре расположены на важных путях сообщения, ни одна из них не находится на пересечении многочисленных рек, а именно встречи множества дорог создают господствующие города и столицы.

Из этих городов я вижу два на галльской почве.

На севере бассейн Сены и его зависимости имеют своим центральным перекрёстком островок Парижской Сите. На юго-востоке через Сену, Об и Марну выходят к углу Шарантона пути долины Соны; мыс Конфлан и равнина Сен-Дени видят прибытие дороги Уазы, Самбры и Мааса, которая идёт от самого Рейна; на юге Луэн, начинающийся от Море, Эссонн, отделяющийся от болот Корбей, спаивают свои ложбины с двумя линиями Луары — с той, что от Орлеана бежит к Арморике, и с той, что от Жьена поднимается к Севеннам; вниз по течению, наконец, воды морской Сены — отправная точка сети путей, бороздящих Британский океан. Париж командует, следовательно, всеми регионами, заключёнными к северу от Центрального массива [132].

Лион концентрирует, возможно, ещё больше дорог, чем Париж. Он не является, как тот, перекрёстком лишь половины Франции, но он возвышается, как акрополь, в центре Галлии и близ всех её кварталов [133]. Фурвьер — голова путей Юга; и у подножия холма Сона приносит пучок трёх северных дорог — Рейна, Мозеля и Сены [134]. Из всех галльских слияний слияние Перраш наиболее близко к Севеннам и Луаре, горам и реке геометрической диагонали Франции: ради него столько людей прошло через Тарар и Рив-де-Жье. Он находится на том же расстоянии, что и Париж, от Аквитанской равнины и немного ближе, чем он, к воротам Рейна. Наконец, перед Лютецией у него есть преимущество *presiding* над всеми подъёмами в Альпы и всеми спусками к югу. Именно на землях, соседних с Океаном, его действие наименее сильно, как земли Средиземноморья ускользают от действия Парижа. — Не будем говорить в ущерб Лиону, что он слишком близок к границе, отмеченной с этой стороны Альпами. Париж, без сомнения, дальше от восточного конца Галлии. Но то, что делает отдалённость от границы, — не число миль или лье, а время марша, и с этой точки зрения Лион был на больше дней пути от Италии [135], чем Париж от Германии [136].

Тот и другой перекрёстки могут, следовательно, стать центром галльского тела: Лион — когда интересы народов будут привязаны к Югу; Париж — когда привязанности или страхи вождей Франции будут привлекать их к Океану и германским равнинам. Отношения границ определяют прежде всего выбор столицы [137].

И однако, глядя в самом Лионе на это столь чёткое и ясное слияние, этот чудесный набор речных путей, эти реки и эти проходы, столь же регулярно ориентированные, как если бы они были делом авгуровского расчёта, этот горизонт, образованный верховными горами Франции, Альпами и Севеннами, это зрелище — то белых вершин границы, то чёрных и глубоких масс Центра, — этот быстрый бег к Средиземноморью, это медленное восхождение к Сене, Рейну и Луаре, я не могу не восхищаться здесь вечным пупом всей Галлии [138].

ХII. — РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕКРЁСТКИ

Помимо этих двух мест всеобщей ярмарки, Галлия обладала в каждом из своих бассейнов перекрёстками долин, где могли рождаться великие «рынки», региональные столицы, места более частых встреч и более скученных жилищ. Поскольку реки и дороги Галлии находятся по периметру страны, именно там, а не в центре, завяжутся главные узлы естественных путей и человеческих отношений.

На юге берег Средиземного моря и равнины, его окаймляющие, пересекаются двумя речными линиями — Роной и Од: Нарбонна и Марсель отвечают этим двум пересечениям. Первая находится в низине, куда сходятся долины Руссильона и Лангедока и путь Лорагэ. Марсель не на Роне: но именно роданский перекрёсток объясняет его роль и его величину. Он родился из двух географических фактов: он — лучший порт, какой встречается при coming с востока, и тем самым обязательный конец путей Сардинского моря; и этот конец граничит с дельтой Роны, где собираются жизненные артерии юга Франции [139]. И именно поэтому, если Марсель и Нарбонна могут вступить в соперничество, борьба всегда будет неравной для последней [140].

На своей западной оконечности проход Лорагэ касается Гаронны в том месте, где она выходит из Пиренеев и поворачивает к Океану: Тулуза будет продуктом этой встречи.

Три океанских бассейна имеют свой истинный центр в эстуарии: ибо именно там смешиваются пути, которыми являются их реки и ручьи, и где эти пути встречаются вместе с волной прилива сто дорог берега и открытого моря. Более крупные города строились поэтому близ устьев: Бордо — на полумесяце, который образует Гаронна последним изгибом, прежде чем расшириться в морскую руку; Нант — на холме, господствующем напротив малых островов Луары над слияниями Эрдры и Севра; и в последних ложбинах Сены порты, укрывающиеся у подножия утёсов правого берега, — Руан, Лилльбонн или Гавр: эти последние, часто приносимые в жертву в жизни Франции, жертвы конкуренции Парижа, который слишком близок и которого достаточно для осуществления господства над всем бассейном [141]. — Из этих столичных положений лишь положение Бордо является окончательным, автономным и как бы королевским. Удалённость от Парижа и Лиона; пересечение в его порту Луны речного пути и великой дороги западных равнин Галлии; огромная масса волн, которые у Бека д'Амбес несут пути, пришедшие со всех точек его горизонта: всё это делает Бордо необходимым для огромного куска Галлии. Он один играет на Юго-Западе роль, которая на Юго-Востоке разделена между Нарбонной и Марселем: роль отправной точки походов и маршей к морю, к внутренним землям, к испанской границе.

Наконец, нужна была особая столица для этих массивов и бассейнов Северо-Востока, чьей осью и богатством является Мозель: и именно берега этой реки были предназначены, следовательно, чтобы её принять. Но если в его долине перекрёстки многочисленны, ни один не навязывается как прочный центр. Тот, который он образует с Сарром [142], самым длинным и самым независимым из его притоков, привлекал больше внимания [143]: именно близ него воздвигнется Трир.

Таковы были **существенные** черты строения Галлии, внутренние элементы её материальной и общественной жизни; таковы были, следовательно, те из вечных причин её истории, которые вытекали из её самого организма.

ГЛАВА II. — ПОЛОЖЕНИЕ ГАЛЛИИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ[1]

I. — О РОЛИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГРАНИЦ

Самые видимые границы страны никогда не изолируют её полностью: природа не создала непреодолимых барьеров между народами; они уважают лишь те рамки, которые сами себе установили. Горы, реки и моря, леса, болота и пустыни служат границами для рас, языков или государств лишь в той мере, в какой они порождают ужас, а мера эта невелика. Не видимые границы региона отделяют его более всего от соседних регионов [2]: контрасты происходят от климата, качества почвы, внутреннего строения страны, привычек соседства, публичных традиций, языкового наследия. Случается, что физические границы, неровности почвы ускоряют или усиливают эти контрасты; но они их не определяют. Окончательные очертания нации — это компромиссы между указаниями природы и результатами фактов, произведённых людьми.

Альпы, Пиренеи и Рейн будут служить вехами тем, кто захочет создать великую родину: они никогда не навязутся как таинственный закон. Племя, владеющее одним берегом реки, какой бы широкой она ни была, всегда желает приобрести противоположный берег [3]; река — от одного берега до другого — естественный путь целого народа: Дунай был границей лишь тогда, когда этого хотели римляне[4]; По почти всегда объединял, на севере и на юге, похожие народы; и когда Рим обосновался на Палатине и холмах левого берега Тибра, он пожелал и тотчас занял Яникул и правый берег [5]. Гребень гор стал барьером лишь для цивилизованных государств, которые любят точность во всём; но обычно племена, владеющие одним склоном, переливаются на другой, и совокупность цепи или массива образует владение одной и той же группы людей: лигуры, этруски, умбры и самниты распространились по обоим склонам Апеннин [6]. И само море, за исключением случая огромных протяжённостей поверхности [7], меньше препятствие, чем вызов предприятиям людей: вспомним всю историю древнего мира, лиги Афин, вождения Карфагена, Римскую империю. Река, гора и море имеют в себе неодолимую силу притяжения, которая объединяет жителей обоих берегов. Когда они способствуют разделению народов, это главным образом потому, что порождают зоны населения, имеющие свою собственную жизнь и отличные от соседних **народов**.

Границы Галлии были, следовательно, как и границы всех стран земли, одновременно видимыми и недостаточными. Они останутся полезными элементами защиты, единства, национального сознания, если население внутренних областей договорится принять их, чтобы жить по эту сторону от них общей жизнью; они станут действительно границами лишь тогда, когда дело природы будет санкционировано совершенно чёткой рефлексией уже цивилизованного государства. Но они никогда не избавят это государство от завистливых желаний других людей, от предприятий далёких торговцев, от публичных разбоев соседних народов. Галлия всегда будет открыта для миграций, войн, влияний. И когда её обитатели станут достаточно сильными, чтобы больше их не бояться, они тотчас, в свою очередь, приготовятся смотреть за пределы своей страны и угрожать соседним землям.

II. — ПРОХОДЫ АЛЬП [8]

Самой трудной из галльских границ была граница Альп. Всё способствовало тому, чтобы перед ними возбуждать воображение людей. Видимые с юга, они замыкали непрерывной стеной [9] горизонт огромной итальянской равнины. Приходя с севера, уже от лионского перекрёстка смутно различали в небе их серую или беловатую массу. Подъём начинался на самых берегах Роны: в течение десяти дней пути [10] новые вершины возникали непрерывно, всё более сближенные, более высокие, более переплетённые, и в конце это было странное и мрачное зрелище — видеть из глубины долин последние следы человеческой жизни, цеплявшиеся

за вершины или стены скал: жалкие хижины, тщедушный скот, косматые дикари, всё запустение зимы и нищеты вблизи страны тепла и богатства [11]. Затем путешественник, в свою очередь, поднимался в это царство страха [12]: требовался почти отвесный подъём, страшное напряжение икр [13], иногда в течение почти пяти лье [14]. Воздух и почва преобразовывались по мере того, как человек поднимался [15]: с обеих сторон простиралась ужасная белизна вечных снегов [16]; на точках, где земля казалась обнажённой, летом росла лишь печальная и низкая трава, и сами деревья, эти первые спутники религиозной жизни людей, отступали на этой бесплодной и проклятой земле [17]. Со всех сторон — беспорядок приоткрывающихся оврагов, нависающих скал, полных угроз ледников, низвергающихся потоков, ужас лавин и обвалов, разнuzданная и коварная природа, из которой выходят странные крики, и которая внезапно порождает чудовищные опасности [18]. Воздух и почва сталкивались в конвульсиях бурь, поднимаемых северо-западным ветром [19]. И человек чувствовал себя в сверхчеловеческом мире, полном таинственной и ужасной жизни, расположенном близ неба, чтобы разделять владения двух великих народов [20].

Но в этих рассказах об ужасах древние превратили мгновенные страхи в постоянные реальности и населили Альпы бесчисленными призраками, рождёнными невежеством их ума, трусостью их сердца, легковерием их религии. Наблюдатели, которые верили только своим глазам, народы и вожди, в которых дух приключений господствовал над страхом богов, быстро признали, что человек может создать себе место и путь в этом бурном хаосе льдов и скал. «Я был в Альпах, — пишет Полибий, — я видел места и утверждаю со всей уверенностью, что всё, что говорили об этих горах, об их ужасающих пустынях, об их непреодолимых стенах, об их недоступных высотах, — ложь или грёза. Нет нужды ни в богах, ни в героях, чтобы помочь их перейти» [21]. То, что создало опасности похода Ганнибала, — это меньше трудность дороги, чем враждебность горцев, наступление плохого сезона и неопытность его проводников [22]; его брат Гасдрубал, воспользовавшийся школой своих несчастий, пересёк цепь с быстротой, граничащей с чудом [23].

На обоих своих склонах Альпы прорезаны очень длинными и очень глубокими долинами. На западе эти долины спускаются более медленными склонами, более многочисленными извилинами и расходятся ко всем точкам горизонта: они образуют, таким образом, с галльской стороны более длинные, но более удобные пути. На востоке гораздо быстрее *arrives* в итальянскую равнину, и различные долины имеют преимущество сходиться к общему центру — туринскому слиянию и широкой и прекрасной дороге По: но спуск очень крутой и иногда очень опасный [24]. На обоих склонах ещё, слева и справа, долины доступа проникают далеко в гору и всегда навстречу друг другу, и они заканчиваются тем, что сближаются так близко, что истоки роданских и паданских вод часто находятся на расстоянии менее одного лье [25]: где воды соседствуют, люди легко соединяются. Затем эти нижние авеню были так привлекательны! Ближайшая к Лиону, долина Грезиводана, казалась выровненным садом, сверкающим зеленью и светом [26]; за клювом Этона она раздваивалась на Морьенн и Тарантез, и если в этих более узких коридорах человек пугался слишком близкой горы, он чувствовал, как его долго ласкают сладости равнины, которая его несла. До подножия решительного подъёма толпы могут проходить без скуки и жить без труда [27]. Сам этот подъём никогда не требует более одного дня усилий [28]. И, как будто чтобы ещё убавить усталость, самые низкие перевалы находятся на оконечностях самых лёгких и самых весёлых долин: ни один из этих коридоров, обманчивым соблазном, не заводит путешественника в тупик.

Древние посещали четыре главных перевала в галльских Альпах [29].

Самым посещаемым [30] всегда был перевал Мон-Женевр [31]. Обращённый к югу, он избегал двух главных опасностей — лавин и северного ветра [32]; это был самый низкий из всех мест, где скалы Альп позволяют людям подойти [33] (1854 м). Но что составляло его главное достоинство — это то, что он находился на самом длинном из естественных путей,

пробитых через галльские Альпы, том, который образуют Дюранс и Дора Рипария: он отмечал, таким образом, центр западной цепи; он соединял два самых населённых перекрёстка этой зоны мира — туринский и арльский [34]. Он был, следовательно, главными воротами Альп [35]. И когда вокруг Средиземного моря искали постоянные пути миграций и человеческих армий, чтобы дать им героя-основателя, Геркулесу приписали славу того, что он пробил горы у перевала Мон-Женевр [36].

К северу от Дюранс великая авеню Изера достигала через Морьенн Мон-Сени, через Тарантез — Малого Сен-Бернара. Древние знали [37] Мон-Сени (2082 м), его странное озеро [38], его плодородную равнину, покоящуюся, как горный оазис, в глубине амфитеатра снегов [39], и на его горизонте — господствующую вершину Рош-Мелон, которая считалась гигантом цепи и была, возможно, древнейшей резиденцией альпийского Юпитера, высочайшей из его гор. Ибо в варварскую эпоху Сени был, я думаю, самым протоптанным [40] из всех троп, проложенных между слиянием Роны и долиной По; он находился точно на прямой линии, которая их соединяла [41]; и он отвечал, в северном направлении, тому пути Мон-Женевера, который с юга поднимался к нему [42]. Оба пути соединялись в Сузе, в виду Рош-Мелон, и спускались вместе, через виноградники и луга Доры Рипарии, к бесконечным полям земель у подножия гор.

Но в римскую эпоху Сени перестал быть местом большого прохода: чтобы достичь Лиона, главы Империи приняли пути и перевалы, которые шли от Доры Балтеи: Малый Сен-Бернар (2157 м), широкий, хорошо открытый, доступный для тяжёлого обоза [43]; Большой Сен-Бернар (2472 м), более краткий, но суровый и крутой, узкий и часто отвесный [44]. Первый путь, который называли путём Грейских Альп, соединялся со спуском Сени у входа в Грезиводан; другой, называемый Пеннинскими Альпами, достигал слияния, лишь следуя всем излучинам Роны. Но эти два перевала часто предпочитались Сени, потому что их галльские долины, Тарантез [45] и Вале, были совсем иначе приятны, плодородны и населены, чем суровая Морьенн; затем они командовали Дорой Балтеей, богатой золотом и людьми, страшной своими изгибами и логовами своих гор [46]; наконец, у Женевского озера пеннинский путь встречал те, что шли от Юры и рейнской излучины. Более чем Сени, двойные ворота двух Сен-Бернаров были необходимы для безопасности Италии, для империи Альп, для завоевания Запада [47]. Они заставили забыть соседний перевал до того момента, когда новые народы, пришедшие с севера и торопящиеся прибыть, не стали искать в горах лишь самый быстрый и самый удобный проход [48].

Другие перевалы — Симплон, в глубине Вале, — перевал Лакруа, в Кейра, недалеко от истоков По и почти в виду Мон-Визо, самого известного из альпийских пиков [49], — перевал Ларш, на оконечности долины Барселоннет, — другие ещё, возможно, не были неизвестны горным крестьянам [50]: но они никогда не видели проходящих армий завоевателей.

Что завершало разрушение альпийского замыкания — это на его южной оконечности длинный и узкий путь, который окаймлял Средиземное море от Фрежюса до Италии. Нужно было, без сомнения, чтобы добраться до него, сделать бесконечный обход через Рону, Арк и Аржанс, и этот путь казался затем бесконечным, следуя непрерывно за малейшими изгибами берега. Но, напротив, человек встречал там лишь опасности, идущие от других людей, и находил в изобилии все ресурсы жизни [51].

И то, что в конечном счёте должно было сделать эту цепь Альп не ужасом народов, а неодолимым притяжением их походов, — это то, что за этими горами и этими порогами простирались, возможно, самые желанные земли древнего мира. Я говорю на востоке и на западе: на востоке вид огромных равнин Циспадании, самых широких и самых плодородных во всей Европе [52], достаточен, чтобы вернуть мужество солдатам Ганнибала, вышедшим из Испании и Африки [53]; на западе следовали долина Роны, рыбное море Марселя, низкие земли Лангедока, регион веселья и богатства, где итальянцы узнавали великолепие своей собственной

родины[54]: и за ними у них была надежда на хлеба и стада, на золото и серебро Испании. Получалось, таким образом, что граница Альп, наименее человеческая в Галлии, была той, которой более всего угрожали потребности и амбиции людей. Страх перед Духами вершин всегда был менее силён, чем притяжение далёких стран. Альпы вызовут в жизни народов лишь одну из тех задержек, которые делают вожеления сильнее [55].

Нужно было настаивать на них из-за ужасной славы, которую им создали вышивальщицы лжи древнего мира. Станные историки с блуждающим воображением сделали из них барьер между двумя мирами [56]: тогда как с обеих сторон всегда жили народы одного языка, что лигуры Прованса походили на лигуров Апеннин, что узкое братство идиомы и союза объединяет обе Галлии — трансальпийскую и цизальпийскую [57], и что часть Римской империи, наиболее точно смоделированная по Италии, была той, которую орошали воды роданских долин.

III. — ПРОХОДЫ ПИРЕНЕЕВ

Не более чем Альпы, Пиренеи не укрыли Галлию от людей юга, ни тех — от банд, пришедших с севера.

Хотя усеянная менее высокими вершинами, пиренейская стена кажется ещё более нетронутой, чем альпийский вал [58]; она не предлагает на оконечности своих главных долин естественных порогов: почти все они заканчиваются настоящими тупиками, упираясь как раз в самые высокие вершины. Гав-де-По выходит из подножия Марборе, самый яркий из истоков Гаронны рождается на склонах Проклятых гор [59], и эти два прекрасных пути крайнего Юга внезапно останавливаются перед этими ледниками и этими горами, которые никакой Титан, до Роланда, никогда не имел силы разбить [60].

Но это верно лишь для центра цепи. На её двух концах она опускается или приоткрывается для проходов, ещё более лёгких, чем альпийские. Вдоль океанского берега, от Биаррица до Сан-Себастьяна, живописные тропы следуют за утёсом, спускаются, поднимаются, изгибаются вместе с ним и, как тропы лигурийской Корниши, почти никогда не теряют контакта с морем. Совсем близко от них, по обе стороны Руны, изобилуют хорошие горные порты: каждая из наших маленьких долин имеет свой, и такой мягкий, такой оживлённый травами и источниками, что рассеянный путешественник не замечает, что меняет склон. Далее, к востоку, находятся два больших перевала, куда сходятся, приходя из Дака, Байонны или По, все галльские дороги Юго-Запада: Ронсеваль (1409 м [61]), который через плодородные берега Нивы ведёт в Памплону, к богатым землям Риохи и наваррского Эбро [62]; Сомпорт (1632 м), между Гавами, Уэской и Сарагосой, древними метрополиями бассейна арагонского Эбро [63]. Наконец, совсем на востоке порог Перш (1571 м) соединял в Сердани долины Сегры и Тет, и в виду моря пандус Пертюс (279 м) приводил в равнину Эльн дорогу каталонского берега и больших портов Таррагоны и Барселоны [64].

Мало было после этого значения, что центр Пиренеев не был открыт. Путей на оконечностях было достаточно, чтобы обеспечить циркуляцию народов. Тем более что им никогда не нужно было проходить через середину цепи. Ибо верхние долины Гава-де-По и Гаронны — в общем строении Галлии лишь детальные линии. Два великих пути, которые с севера направляются к Пиренеям, — это пути берегов: один на западе, который, соединив парижские слияния с бордоскими, углубляется затем к Адуру и Ниве; другой на востоке, который от Лиона, Арля и Нарбонны достигает в Эльн последних склонов Пиренеев. Но эти два пути приходят к двум концам цепи, и они находят там именно две бреши, которые им нужны: восточную, брешь Геркулеса у Пертюса [65], и западную, брешь Роланда у Ронсевала.

Из двух пиренейских героев меньше трудов было у Геркулеса. Подъём Пертюса, мягкий, надёжный и широкий, укрытый могучими лесами, под умеренным небом и близ моря, сверкающего цветом, — лишь прогулка героя в поисках радостных приключений [66]. На монотонном и молчаливом крупе, который идёт через Шато-Пиньон от Сен-Жан-ле-Вьё к Ибаньете и

Ронсевалю [67], — пять лье непрерывного подъёма, то среди мук тумана, то под усталостью закрытого, сурового или пустынного горизонта:

Высоки горы, и мрачны, и велики, Глубоки долины, и быстры воды [68].

Но это действительно лишь дело одного дня и без чрезмерной усталости. Там не бояться ни пропастей, ни ветров, ни льдов альпийских восхождений. Многочисленная кавалерия может там пройти без иной тревоги, кроме засад, и затем — быстрый спуск к этому зелёному, све-жему, выровненному как озеро плато, где раскидываются буковые леса Ронсевала [69]. Дорога представляет больше привлекательности, чем поводов для ужаса. Вспомним все толпы, кото-рые поднимались и спускались по этим склонам, от далёких миграций до неутомимых палом-ников Святого Иакова.

IV. — ПУТИ, ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ РЕЙН

Посмотрим теперь на север Галлии, на другой конец этих великих дорог, которые мы только что видели продолжающимися через ворота Альп и Пиренеев далеко на юг.

От Боденского озера до островов Германского океана долина Рейна — обширная и длин-ная траншея, к которой сходятся все пути, без исключения, Северной и Центральной Европы, как ответвления к магистральной линии. Но случается, что эти пути касаются реки в тех местах, где спускаются, слева, собственные дороги Галлии.

Подъём Дуная заканчивается между Боденским озером и Шварцвальдом. — В этом месте, за Рейном, открываются два самых широких вестибюля нашей страны: с одной стороны, швейцарский коридор [70] Аара и Орба, между Виндишем и Женовой, полный текучих вод и бездонных озёр [71]; с другой — брешь Бельфора и бургундские ворота через Базель, Безансон и Лион. Юра, как бы ни была она высокой, непрерывной [72] цепью, пробитой узкими и труд-ными проходами [73], никогда не послужит плотиной против народов; великая дорога обходит её с каждого из её склонов [74], обширные перекрёстки аннигилируют её на её оконечностях [75]: это подпорка между двумя всегда доступными порогами.

Концы герцинских рек, Майна и других, окончания этих очень старых варварских троп, которые бежали у подножия центральных гор и по северной опушке великого германского леса [76], располагаются между Майнцем и Кёльном [77]: и именно там начинаются, медленно под-нимаясь к югу, две долины — эльзасского Рейна и лотарингского Мозеля, одна и другая тёп-лые, плодородные и соблазнительные, дающие людям, прибежавшим из диких земель, пред-вкушение тех южных регионов, куда они ведут без околичностей [78].

Наконец, нижнее течение Рейна пересекает огромный регион Северной Европы, и этот регион не меняет ни характера, ни направления от одного берега реки до другого. От Фландрии до Фрисландии продолжается одна и та же низина. Без сомнения, к востоку от пути Самбра-и-Маас естественное направление дороги перестаёт быть чётко отмеченным прямолинейной долиной; но человеку не нужно было, в выровненных и открытых окрестностях, окаймляющих северные моря, чтобы его путь был проложен руслами рек. Ему нужно было лишь идти прямо перед собой, к востоку или западу: он не встречал иных неприятностей, кроме одиночества лесов и опасностей торфяников.

Оставался, чтобы остановить его **поход**, движущийся барьер Рейна, о котором древние повторяли до пресыщения, что это очень широкая, очень глубокая и очень быстрая река [79].

Но греки и римляне обычно заменяли в географических вопросах точное понятие пре-восходной эпитетом. И они не сказали нам, что в действительности Рейн — из всех обширных рек Европы та, которая более всего благоприятствует навигации, обменам и контактам: лодка может легко его пересечь почти во всех точках [80]; у него отличные порты и очень удобные места переправы [81]. Навигация по нему всегда была для прибрежных жителей простой игрой: вплоть до его нижнего течения племена одной крови и похожего имени долго обитали на обоих берегах [82]. Во времена Цезаря римляне видели в Рейне провиденциальный ров, изобилую-щий безднами, окаймляющий и защищающий их господство от чудовищных народов Севера

[83]: но уже тогда между двумя берегами была интенсивная циркуляция, во все сезоны. Его переправа всегда была наименьшей из операций для решительного генерала; нужно оставить поэтам заботу его прославлять. Когда Цезарь счёл, что достоинство римского народа требует провести легионы в порядке по укрошённым водам реки, ему хватило десяти дней работы, чтобы установить прочный настил [84]. Рейн стал грозным имперским рвом лишь при условии быть защищённым бесчисленными крепостями или священными ужасами. Но несмотря на всё, с ним было как с другими реками: чтобы его перейти, нужно было лишь осмелиться сражаться и быть в ладу с богами [85].

V. — ПУТИ И ПОРТЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Берег галльского моря был концом земли лишь для географов. В действительности он отмечал линию, где пересекались человеческие пути двух родов — континентальные и морские. Ибо мы, — справедливо говорил один древний, — мы в некотором роде амфибии и по меньшей мере столько же обитатели моря, сколько твёрдой земли [86]. Порты были, как перевалы гор, порогами перехода.

Самым широким и самым укрытым на галльском Средиземноморье был Лакидон, порт Марселя [87]. Кроме, возможно, Карфагенского залива, Внутреннее море нигде на Западе не углублялось в более гостеприимный бассейн, более умело начертанный, более полезно ориентированный. Правда, воды, которые он обслуживал, периодически сотрясались Цирцием или Чёрным Бореом: тем ужасным северо-западным Мистралем, который, говорили греки, обезоруживал людей и сбрасывал всадников [88] и который, как снежные ветры Альп, казался священным стражем границ Галлии [89]. Но к северу от марсельского порта вдоль берега тянулись холмы, служившие экраном против внезапных порывов ледяного бича: застигнутые корабли ждали в Эстаке под их укрытием, пока божественный ветер не завершит нечётное число своих дней гнева [90], а тем, кто уже вошёл в Лакидон, скалы, его обступающие, обеспечивали тёплую защиту. — Затем из этого порта люди достигали Роны, естественной станцией и стражем которой он был.

Напротив Марселя путь Од заканчивался в Нарбонне. В этой точке сама река, расширенная и судоходная, образовывала порт, и обширный пруд, который она затем пересекала, открывал флотам резервные бассейны [91]. Другие порты дополняли серию точек приёма на галльском Средиземноморье: Баньюльс, Пор-Вандр и Коллиур, округлые бухты Альбер, открытые напротив Нарбоннского залива; Агд, у подножия своей чёрной скалы и в устье Эро; Арль, во главе Камарга; затем глубокие и синие бухты провансальского берега — Кассис, Ла-Сьота, Бандоль, Санари, Тулон и его рейд, порты Йера и его островов, Сен-Тропе, Антиб, Ницца и порт Монако, самый далёкий из всех. Но, кроме Арля, все они были слишком далеко от великих сухопутных дорог, чтобы претендовать на всеобщую роль [92].

Что окончательно увлечёт к этой роли порты Лакидона, Арля и Нарбонны — это то, что нормальные пути Средиземноморья склоняются к ним.

Общее расположение берегов таково, действительно, что Марсель обращён одновременно к Африке, Испании и Италии. Алжир всего в двухстах лье от него, так же близко, как Париж, и менее далеко, чем Булонь [93]. Во времена зимы или разбоя самые короткие и самые надёжные пути, идущие от Тибра и Арно к Роне или к Таррагоне и Эбро, — те, что следуют по морю через Марсель [94]: римляне хорошо это знали, когда отправлялись из Остии или Пизы в Испанию с обязательной остановкой в провансальском городе или когда высаживались в устьях реки, чтобы достичь Ганнибала, устраняя тем самым опасности Альп и Пиренеев [95]. Марсель был одной из трёх голов треугольника, образованного западным Средиземноморьем, двумя другими были два Карфагена — африканская метрополия и испанская Картагена [96].

Если взглянуть наконец не на запад Внутреннего моря, а на совокупность его вод, если подумать, что оно, как и Европа или Галлия, имеет своё единство, своё равновесие, свои главные линии, мировая важность галльских портов покажется ещё большей. Марсель или Нар-

бонна заканчивают главную ось всего Средиземноморья[97], ту, что идёт от устьев Од и Роны через Сицилийский канал до дельты Нила и устья Оронта. И эта ось, продолженная на северо-запад к английским портам или равнинам Германии, на юго-восток к огромным рекам восточных царств, была, возможно, самым длинным путём, единственным имперским и верховным, всего древнего мира: и именно по нему следовали римляне, когда захотели завершить его завоевание[98].

VI. — ПУТИ ОКЕАНА

Придётся ждать две тысячи лет, чтобы подобный путь был признан и пройден от галльских берегов севера до островов и земель далёкой Атлантиды. Но далеко не так, чтобы эти берега Океана оставались даже в древности простым местом встречи регионального каботажа.

Именно через свой Океан Галлия сообщается с Великобританией, своей соседкой и, по-видимому, своим спутником. Морские пути, ведущие на остров, были лишь продолжениями водотоков внутренних областей: отправлялись из Бордо, из эстуариев Луары и Сены, реже из устья Рейна[99]; и главной внешней причиной, которая некогда создала славу или известность речных портов Галлии, было быть головами дорог Англии. Эти речные пути были, правда, очень длинными; но они избегали перегрузок, пошлин сухопутных троп и непредвиденных усталостей на плохо утрамбованных почвах. Позже, когда земля станет более доступной, будут использовать главным образом между Европой и Бретанью сокращённый проход галльского пролива. Конечно, порты Па-де-Кале не стоят портов великих эстуариев; можно было колеситься между несколькими точками погрузки: Булонь с выемкой Лианы и высотами, её окаймляющими, была предпочтительнее всех других[100]; она не навязывалась. Зато оттуда переправа через море была таким коротким делом! Отправившись после полуночи, прибывали утром, около десяти часов[101]. Этот угол Булонне, выдвинутый, как нос корабля[102], к английским Пяти портам[103] и заливу Темзы, имел ещё преимущество быть приклёпанным к телу Парижского бассейна и касаться европейского пути северных равнин: главные пути доступа Бретани собирались, таким образом, в пучок как раз напротив острова, на уголке галльской земли[104].

К востоку от Булони берег был монотонным и негостеприимным, как если бы порты становились бесполезными, как только он удалялся от Англии. На западе, напротив, где две земли продолжают смотреть друг на друга, малые порты множатся на нормандских и армориканских берегах. Как могли бы обитатели Галлии игнорировать тех, кто напротив? Их страна, изрезанная тридцатью эстуариями, широко открывается приливу, чтобы привлечь к себе лодки, пришедшие с севера[105]. В нескольких милях к открытому морю видимые острова звали рыбаков Франции и приглашали их плыть ещё выше. От одного края белой [земли] до другого, в центре как на оконечностях, самые выступающие мысы направляются друг к другу[106]. Заставить армию ходить туда и обратно по этому рукаву моря было гораздо менее долго, чем построить для неё мост через Рейн или переправить её через склоны Мон-Сени[107].

Можно сказать, что таким же образом западный берег галльской Атлантики от мыса Сен-Матьё до мыса Фигье построился напротив северного берега Испании. Оконечности смотрят друг на друга, заливы отвечают друг другу; мыс Ортегаль был всего в трёх днях быстрого плавания от острова Уэссан[108]; Океан — единственный практический путь между портами Арморики и Аквитании, с одной стороны, и портами Галисии, Астурии и Кантабров — с другой: Нант, Ла-Рошель и Бордо — клиенты Ла-Коруњи, Сантандера и Бильбао; и первые иностранные мореплаватели, открывшие мысы, острова и бухты французской Бретани, — те, что поднялись из Испании, гонимые южным Нотом[109]. Наконец, Внешнее море, если рассматривать его лишь в его европейской роли, обладало, так же как Средиземноморье, своим главным и диагональным путём. Только этот путь, вместо того чтобы идти прямо в открытое море, как путь от Александрии до Марселя, редко удалялся от берега. Я вижу его: начинаясь от Гадеса, древнего Тартесса, идущий вдоль Испании, пересекающий Бискайский залив в двух его крайних

точках, огибающий мысы Арморики, пересекающий Ла-Манш и Северное море, разветвляющийся затем, чтобы закончиться в норвежских фьордах или на островах Балтики. Соседство берегов и обилие заливов делают так, что нигде этот путь не вызывает непреодолимых страхов; он показывает на каждом этапе восхитительные места отдыха на глубоких реках и заставляет забыть среди полей или лесов опасности и печали бесконечных волн. Хотя он окаймлял самые далёкие земли, известные людям древности[110], они практиковали его почти тотчас и так же часто, как великий поперечный путь Средиземноморья: после Марселя самой знаменитой и первой называемой точкой французских берегов у мореплавателей был мыс, который Арморика выдвигает на путь Океана[111]. По этому пути продвигались с юга искатели олова и янтаря и греки, любопытствующие о новых науках[112]; и по этому же пути, в обратном направлении, устремились, на закате древнего мира, саксы и норманны, наследники лигурийских или кельтских пиратов, которые проложили эти пути за пятнадцать или двадцать веков до них[113]. Гадес и Тронхейм, две столицы Атлантики древности, были крайними портами этого пути, где скрещивались самые разные представители старых человеческих обществ.

Кельтский берег — центральный сектор этой линии и, следовательно, тот, где движения людей, пиратов и торговцев, будут наиболее многочисленными. Но Галлия не имеет истоков пути: она останется интимно связанной с морской циркуляцией, которую он вызывает, она не будет её отправной точкой; она будет иметь на этом берегу перворазрядные стоянки: она не произведёт там, до Нового времени, ничего сравнимого с Марселем или Нарбонной и тем более с Гадесом, блаженным городом, откуда древний мир отправился на открытие земель севера и запада[114].

VII. — ПЕРЕСЕЧЕНИЕ В ГАЛЛИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПУТЕЙ

Таким образом, эта граница Галлии, которую называли столь чёткой и столь непрерывной, приоткрывалась повсюду для перевалов, проходов и портов: и ко всем этим отверствиям являлись пути, пришедшие издалека.

Пути древней Европы можно было классифицировать на пути севера и пути юга. — Те были океанскими берегами, по которым следовали пираты, и обширными тропами, протоптанными человеческими миграциями, северной равнины, герцинской опушки, дунайской траншеи: все они шли теряться в самых неизвестных регионах Медведиц и Дракона, чудовищных резервуаров народов, откуда непрестанно изливались неисчерпаемые множества[115]. — Эти — морские пути Средиземноморья, тропы по карнизу вдоль берега, героические подъёмы через самые южные перевалы двух великих цепей, кильватерные следы корабля Улисса и шаги победного Геркулеса.

Но и те, и другие фатально вели в Галлию: и эта сеть внутренних путей нашей страны, которая, казалось, была сделана нарочно для неё, была в конечном счёте лишь продолжениями или линиями соединения всех путей Европы.

Разумеется, от Гадеса до русских степей не недостаёт длинных диагональных линий между двумя берегами и двумя европейскими склонами. Но к западу от Галлии Гадес и Бетика, где сливаются два моря, находятся по отношению к сухопутным путям в эксцентричном положении, вдали от самых посещаемых маршрутов и главных центров континентальных интересов; другие испанские долины, даже долина Эбро, похожи на тупики. К востоку от нашей страны перешеек Триест—Рейн, перешеек Одера и Днестра, перешеек Вислы и Днепра слишком длинны, загромождены плато, горами или болотами, и они ведут на юг как на север к закрытым или полупустынным морям. Галлия, напротив, имеет самые короткие, самые лёгкие, самые весёлые линии соединения между путями севера и путями юга: брешь Бельфора и порог Фосилль, проходы Осуа и севеннские подъёмы и шедевр пробития Науруза. По правде говоря, вся Франция — широкий порог между двумя морями [116]. — И, более того, она сближает эти моря в местах, где их жизнь наиболее *agitated* и наиболее плодородна: именно напротив Галлии Средиземноморье широко раскрывается в обширном пространстве Сардинского и Бале-

арского морей, в цветении своих городов и народов; и ещё во Франции или близ неё Северный океан омывает свои самые гостеприимные берега, свои самые счастливые земли, свои самые деятельные нации и большой амбициозный остров Бретань.

Отметьте на карте естественные пути греко-римского мира; вспомните, глядя на эти пути, мощные движения народов — армии, так называемые цивилизованные, дикие орды, караваны и паломничества, — и нигде вы не констатируете более интенсивной и более постоянной циркуляции, чем на тех, что пересекают Галлию. Из Испании в Италию всегда проходят через неё: сначала Геркулес, который был на путях лишь предшественником или символом главных маршей человечества; затем вдоль этого пути Геркулеса — римляне и карфагеняне, которые впервые там встретились в дуэли, где решилось управление землёй. Если варвары Дуная могут войти в Италию через перевал Наупорт и Юлианские Альпы, те, что с Эльбы и Рейна, проникают туда, обходя Альпы по долине Роны, и именно через Пиренеи те и другие врываются в Испанию: на пути от Базеля до Марселя латиняне, владыки старого мира, дали германцам, господам нового, первые и последние битвы.

Не будем больше говорить только, что перевалы Женевра и Пертюса соединили Галлию с Испанией и Италией: они помогли проложить борозду, в которой проросла вся история Запада. Именно на этих горных ступенях поочерёдно Ганнибал и Цезарь мечтали и готовили завоевание вселенной [117]. Перевал Ронсеваль был не просто внешними воротами Аквитании и Наварры: он дал проход всем человеческим толпам, которые в течение двух тысячелетий отправлялись на юг в поисках идеала — денег и плодородных земель в далёкие века, чудес и святости в христианском Средневековье.

Страна, которую называли Галлией, оказалась, следовательно, подвержена двум противоречивым судьбам: её восхитительное строение делало её законченным миром, самодостаточным, обеспеченным всеми своими органами; её положение в Европе непрестанно подвергало её тревожным прибытиям людей. Она была одновременно важным местом прохода и страной очень большой интимности.

VIII. — ГАЛЛИЯ, ПОСРЕДНИК МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ

Ни одна страна Европы не была, как Галлия, подчинена одновременно двум противоположным влияниям Севера и Юга [118]. Италия была вся отеснена к югу своим акрополем Альп; хотя и разделённая между склонами двух морей, Испания по своей широте также принадлежала лишь южным землям, к которым её мысы Бетики окончательно её привязывали. Но Галлия выходила фронтом, с одной стороны, к Бретани и Норвегии, самым отдалённым из холодных земель [119], а с другой — к Африке и её пустыням: она зависела от двух очень разных зон [120], и народы Океана и Средиземноморья могли одинаково видеть в ней продолжение своих естественных владений.

На севере Европы текли великие реки [121], спокойные, с низкими берегами, с широкими эстуариями, попеременно неподвижными и бурными, с обширными плохо определёнными долинами и почти без пояса. Между их руслами расстилались влажные земли, вечные грязи, болота и леса, которые скрывали странные виды людей и зверей [122]. Галлия отмечала конец этого мира: Гаронна была для грека ближайшей из океанских рек; у болот Фландрии начинались торфяники Германии; Арденны казались бахромой Герцинского леса, этой чудовищной перевязи Европы, шириной в девять дней, длиной в два месяца пути [123]. — Но к югу от Галлии земля была часто так же гола, так же суха, так же тверда, как в Африке или Греции: самые обширные равнины Юга были Ланды Гаскони, где песок мерцает на солнце, Нижний Лангедок, столь часто серый от пыли, и необычайная Кро, где мириады всегда голодных овец щипали мягкие или ароматные травы [124], которые скользят между бесчисленными грудами камней [125]. Реки и ручьи, большие и малые, имели в этих краях те же капризы и ту же ярость, что все шумные реки, которые принимает Средиземноморье: неисправимые повадки

Сегры[126] и Тибра находились у Роны, быстрой и взволнованной[127], у Вара, иногда почти невидимого летом и иногда катящего зимой на четверти лье[128] враждующие волны.

Два моря Галлии представляли между собой тот же контраст. Её Океан был чудесен, как её реки: у него каждый день были свои двойные ходы, прилив и отлив, то убегающие к горизонту, как будто чтобы унести существ и вещи к неизвестным мирам, то возвращающиеся высокими и быстрыми волнами, как будто чтобы найти новых жертв для поглощения[129]. Он непрестанно выл вокруг обитаемых земель[130]. Много раз его гнев был так внезапен, что цунами уносили сотни людей и домов, уничтожали жизнь на длинных пляжах[131]. Не было во вселенной силы более грозной и более непредвиденной, чем его, даже силы небесной молнии. Когда самые отважные моряки отваживались в его воды, вдаль от берега, ужасные звери, большие, чем самые огромные на земле, — киты, кашалоты или другие, — задевали корабли своими грубыми массами и ужасали людей своей мощью и своим уродством[132]. Какая разница со Средиземноморьем, с его всегда видимыми с берега волнами, морем без тайны, если и не без каприза, чьи обитатели были известны, а гнев ограничен!

По своим произведениям Галлия также участвовала в двух зонах культуры, между которыми можно было разделить Европу. У неё были пшеница, бук, дуб скальный — этот неизменный фонд полезной флоры древнего мира[133]. Но она несла лишь на Юге три растения, дорогие средиземноморцам: смоковницу, оливу и виноград — их сестру[134]. Олива, самое боязливое из трёх деревьев, никогда не смогла перейти Северные и даже на Юге не проникла на океанский склон[135]. Смоковница жила в Париже лишь укутанная соломой на зиму[136]. Виноград был смелее: даже в Лютеции он созревал[137] на склонах, которые тянутся вдоль Сены и смотрят на юг или запад; Мозель предлагал ему свою согретую ложбину и получал от него взамен ещё щедрое вино[138]; но как только касались высоких земель Арденн, он исчезал. И это было большим удивлением для солдат Рима, когда, приближаясь к Рейну, они увидели людей, которые не знали ни оливы, ни винограда[139]. Это незнание вина и масла имело иное значение, чем факт ботанической географии: и то и другое были самыми активными ферментами материальной жизни народов Юга и, может быть, чем-то большим — спутниками их удовольствий и их молитв. Северяне, каково бы ни было их имя, заменяли их посредственными приготовлениями, бедными вкусом и видом, где солнце не оставило ничего от своей силы и своих лучей: масло, эта роскошь варварских столов[140], сидр, грушевый напиток, корме[141], пиво особенно[142], предмет насмешки для людей Юга: «Клянусь истинным Вакхом, — говорил Юлиан, — я не признаю этот напиток: он пахнет козлом, а другой — нектар»[143]. Древние писатели могли бы, как делаем мы сами, противопоставлять народы по их любимым напиткам, по их двум способам приправлять трапезы и оживлять жизнь: вино и пиво, масло и масло [коровье], — это уже различало два мира[144].

Наконец, сами вещи воздуха не казались одинаковыми. Существовали между этими двумя мирами пива и вина различия цвета. Одни и те же предметы принимали разные оттенки, давали противоположные ощущения, в зависимости от того, получали ли они тепло Юга или холод Севера. — Близ Внутреннего моря, в Испании как в Азии, в Гадесе, Афинах или Карфагене, жизнь неба состояла из интенсивного света, резкого солнца, быстрых облаков, определённых тонов, точных и несомненных явлений: дождь был внезапным и сильным, снег — неожиданностью, туман — редкостью. Средиземноморцы обычно не знали этих смутных состояний погоды, где человек не может сказать, что такое небо и что оно готовит: у них элементы сочетались в чётких решениях. — Небо Севера было в вечной нерешительности. Почти всегда дожди мелкие и медленные. Снег часто покрывает землю[145] этой однообразной белизной, которая завершает потерю вещами их собственной формы и цвета. Оттуда дует Борей, чьё дыхание замерзает на вечных снегах[146]. Иногда самые широкие реки замерзают до того, что могут нести мириады солдат с их лошадьми и обозами[147], и сам Рейн, переставая, так сказать, жить, сливался с немой и неподвижной землёй[148]. Север, прежде всего, имеет туман, ненавидимый

людьми и богами Юга, плавучее болото неба[149]. Наконец, в оба солнцестояния случается, что день не отличается чётко от ночи: зимой свет сияет едва три или четыре часа, колеблющийся и завуалированный; летом солнце, даже исчезнув с горизонта, посылает ещё на землю слабые отблески, и неопределённый сумрак *prolongs* день от заката до восхода[150]. В течение печальных часов года земля, небо и море, и ночь и день сливаются в ледяной туман[151].

Но именно в Галлии обитатели Севера получали первые оживляющие ощущения Юга, следовали ли они по Мозелю, зажатому между его склонами, или выходили из Арденн через вермандуаскую прогалину[152]. И именно в Галлии средиземноморцы впервые узнали страх перед тайнами северного климата[153]. — Когда аргонавты, пел Аполлоний, проникли за долину Роны, они поняли, что поднимаются к самым отдалённым землям, тем, где были Врата и Империя Ночи[154]: это Смерть ждала их на озёрах с суровыми бурями, в тёмных облаках, где они исчезали, к тем заливам Океана, куда река их увлекала[155] и откуда не возвращаются. Но с высоты гор[156] Юнона издала страшный крик, который огромный воздух отозвал ужасным образом. И тогда, предупреждённые богиней, охваченные ужасом, они вернулись к берегам юга и, изнурённые усталостью, отирали галькой берега обильный пот[157]. — Эти ужасы, остановившие героев Сказания, солдаты Цезаря испытали на пути аргонавтов, когда римская армия должна была покинуть Безансон, чтобы приблизиться к Рейну и сведам: мысль об этих огромных лесах, об этих землях без культуры, об этих гигантах, сильных как дикие звери, поразила самих легионеров таким ужасом, что одни покидали лагерь, а другие плакали. Но если Юнона вернула аргонавтов назад, проконсул заставил солдат идти вперёд[158]: в тот день были решены судьбы северного мира, и именно в самой Галлии Цезарь навязал решение, заставив свои легионы перейти Врата Ночи.

Нужно ли мне говорить, что этот переход от Юга к Северу не был столь внезапным, как воображали поэты? Люди Цезаря хорошо видели, проникая в долину Рейна, с какой медленностью природа преобразовывалась. Галлия, прежде всего, была страной перехода и тех тонких нюансов, где смешиваются самые противоположные тона[159]. У неё были очень далеко к Океану удобные долины, где рос сам виноград, как долины Рейна и Мозеля; на берегах Внешнего моря течения открытого моря поддерживали даже зимой очень мягкую температуру: и до Парижа, в сорока лье от берега, тепло волн ещё давало чувствовать благотворную теплоту[160]. Её центральные горы имели снег лишь в месяцы плохого сезона[161]. Она была по преимуществу страной умеренного климата[162]: она обладала самыми тёплыми из земель Севера, самыми свежими из земель Юга.

Две природы встречались в Галлии; два вида людей скрестятся там. Ибо небо, море, воды и северные земли определяют у их обитателей способы жить, говорить и мечтать, отличные от способов средиземноморцев. Если греки и латиняне имели ужас перед снегами, туманами и ночью, они *nonetheless* породили человеческие мысли и верования, которые имели своё величие, и легенды, расцветшие на Дононе или Пюи-де-Дом, свидетельствуют о поэзии столь же глубокой, как поэзия Акрополя или Палатина. Те и другие смешаются у обитателей Галлии, как соединялись в её долинах пути, пришедшие изнутри и извне древнего мира.

ГЛАВА III. — ПРИРОДА И ОБЛИК ПОЧВЫ [1]

I. — МЕТАЛЛЫ [2]

Если страна, которую называли Галлией, на протяжении двадцати пяти веков представляет один и тот же рисунок в своих внешних линиях [3] и в своём внутреннем каркасе, то она изменилась в облике своей поверхности: вид и ценность страны были изменены трудом народов. Франция заключала в глубинах своей почвы богатства, которые человек частично исчерпал; она обладала, напротив, обширными неводеланными землями, которые человек сумел завоевать. Попытаемся вновь обрести общий облик и собственное достоинство нашей земли за шестьсот лет до христианской эры и спросим себя, каким условиям природа тогда подчиняла жизнь и мысли племён, какие надежды и какие страхи она могла им внушить в грядущие века.

Современное состояние недр даёт лишь очень ложное представление о том, чем они были в галльские времена. Франция почти ничего не значит в производстве драгоценных металлов — золота и серебра; только железо позволяет ей вносить свою долю в металлические ресурсы мира; у неё есть лишь посредственные месторождения других промышленных металлов: олово и медь, два составных элемента бронзы, едва представлены в подземных разработках.

Но из всех богатств земли металлы — самые ненадёжные. Они не возобновляются, как периодические урожаи поверхности. Золотоносные пески постепенно истощаются; жилы пород иногда внезапно обрываются. Обвалы могут разом прекратить самые прибыльные разработки. Тяготы нашествия или гражданской войны, удорожание рабочей силы, открытие более доступных месторождений заставляют забыть или забросить долго процветавшие рудники[4].

Итак, судить о металлическом значении галльских недр следует по древним свидетельствам и только по ним[5]. А тексты писателей и следы разработок показывают нам, что Галлия не испытывала недостатка ни в одном из металлов, к которым прибегали люди древности для нужд или удовольствий своей жизни[6].

Больше всего изобиловал самый драгоценный из всех: природа сама в Галлии являла золото жителям[7], говорили древние. Довольно большое число рек, спустившихся с Северн, Пиренеев или Альп, несли или скрывали крупницы в своих песках или илах; достаточно было промывки земель, чтобы увидеть металл в его сверкающей чистоте, и слабые существа были способны его найти и собрать[8]. — Самыми богатыми жилами были севернские рудники и пиренейские, последние — самые обильные из всех: и те и другие почти не скрывались, и они сразу отдавали самородки величиной с ладонь, которые нуждались лишь в лёгкой очистке[9]. — В русле рек или в скалах гор золото выходило на поверхность там, где оно существовало, находясь почти в непосредственном распоряжении людей: и это, возможно, причина славы золотоносного богатства, приписанной Галлии, и быстроты, с которой это богатство исчезло[10].

Галлия, напротив, у древних считалась лишённой серебра[11]. Но они должны были стусить краски, чтобы контраст яснее обозначил изобилие золота в некоторых регионах и лёгкость, с которой его собирали. Серебро, напротив, было рассеяно и всегда в довольно малом количестве; оно скрывалось на грозных глубинах[12]; оно смешивалось с сернистым свинцом; и оно требовало, чтобы быть приведённым в полезное состояние, много терпения и труда. Но в конце концов оно не было очень редким: в ста местах находились месторождения серебряносного галенита[13]; Альпы и Пиренеи имели свои серебряные ручьи[14], и разрабатывались значительные рудники в Руэрге и Жеводане, в том самом севернском регионе, где производство золота было столь интенсивным[15].

Как прежде, так и теперь, именно железо могло быть главным ресурсом промышленной металлургии. Особенно называли большие рудники Берри и Перигора[16]. В действительности не было региона, где активные поиски не позволили бы обнаружить железные руды: и

почти повсюду, в Бургундии или Шампани[17], как в Гаскони[18], в нимском Лангедоке[19], как в долинах Турени[20] или вдоль траншеи Самбра-и-Маас[21], галльская почва покрыта древними шлаковыми отвалами или железными кучами: даже в соседстве вечных снегов, на высоте 3000 метров, крестьяне Морьенна рыли колодцы и пробивали штольни[22].

Но железо за шестьсот лет до нашей эры, возможно, ещё не составляло орудия силы или труда для людей и элемента богатства для страны. Галлия, жившая в бронзовом веке[23], нуждалась прежде всего в олове и меди. В этом отношении она была, по крайней мере по видимости, посредственно одарена. Регионы с оловянными месторождениями простирались в Лимузене[24], Бурбонне[25] и Морбиане[26]; медные рудники разрабатывались в Гаскони[27], в Тарантезе[28] и во многих других регионах юга и центра[29]. Но если эти месторождения были значительнее, чем думают, они довольно быстро истощились и не могли удовлетворить потребление многочисленного и деятельного народа.

Галлия, наконец, производила свинец почти повсюду и в тех же местах, где собиралось серебро, от которого он был неотделим.

Конечно, её репутация и богатство как металлической страны никогда не равнялись репутации и богатству соседней Испании: та была мощным блоком металла, где все поколения древнего мира, начиная с финикийцев самых далёких плаваний, резали и рыли непрестанно и без потерь, и никакой известный регион не предлагал богатства, сравнимого с этим поясом золота, серебра, свинца и меди, который обрамлял андалузскую равнину[30]. Но Галлия шла сразу после Испании в восхищении людей[31]; и если возможно, что они преувеличивали чудеса её крупниц и жил, это мало важно: ибо история страны зависит столько же от репутации, которую ей создают, сколько от той, которую она заслуживает.

К тому же получалось, что самые редкие в Галлии металлы были теми, которые наиболее изобиловали совсем близко от её границ. Испанские серебряные рудники начинались в высоких землях Арагона [32], и именно из объятых пламенем Пиренеев, говорила легенда, некогда спустились потоки этого металла. К северу от Арморики, в одном-двух днях плавания, простирались бесконечные оловянные месторождения Корнуолла и Девона, где назначали встречу, далеко за шестым веком до нашей эры, торговцы южного мира [33]. Наконец, Испания обладала по другую сторону Бидасоа медными рудниками Райи, горы, колодцы которой свидетельствуют ещё о **изумительной** работе, несколько веков длившейся [34]: и эта вершина с тройной короной, которая видна так издалека из долин и с берегов Лабурда, была, возможно, иногда **включается** в Галлию, истинной границей которой она является, более естественной, чем незначительная Бидасоа [35]. — Непосредственные соседства Франции доставляли ей, следовательно, без задержки те из металлических ресурсов, которые её почва ей отказывала.

II. — СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ И ПЛАСТИЧНЫЕ ГЛИНЫ [36]

Сама почва, камень или глина, для человека ещё драгоценнее, чем недра: из неё он извлекает свои строительные камни и свою керамику, то есть не необходимые элементы своих жилищ и своей посуды (ибо дерево может ему для этого служить), но средства сделать свои жилища более надёжными и пригодными для большего числа употреблений, своё существование более приятным, более устойчивым и менее однообразным.

Галлия благодаря столь сильному и столь разнообразному каркасу, который давало ей её геологическое строение, была неисчерпаемым хранилищем камней всякого рода. Очень разные виды встречались в ней. Первобытные народы находили там для своего оружия бесчисленные месторождения кремня, а для своих гробниц или памятных камней — неистощимый гранит центральных и армориканских земель. Для валов галльских крепостей, для памятников римских городов, для мощения современных городов, для всех убежищ публичной и частной жизни страна предлагала, в зависимости от места, порфир или базальт, песчаник или известняк, известковый камень или гипс: я упоминаю лишь для памяти о мраморах Пиренеев[37] и Альп[38], которые были простой деталью фантазии в жизни людей. Даже в равнинах Лан-

дов и нижнего Мааса ни один регион Галлии не лишён своих каменных материалов[39]. Двойной круг юрских известняков, самых пригодных из всех для строительства зданий, обрамляет Парижский бассейн и Центральный массив[40], эти два главных региона притяжения или сопротивления[41].

Преимущество нашей страны было в том, что она часто представляла совсем близко друг от друга очень твёрдый камень и очень мягкий камень. В римскую эпоху хвалили белые камни Бельгии, которые пилились так же легко, как дерево, и из которых делали коньковые плиты, тонкие и лёгкие[42]; и тот же регион обладал самым прочным порфиром северной Галлии[43]. Парижский бассейн поставлял рядом грубый известняк строительных камней и эти жерновые камни, одновременно столь нетяжёлые и столь прочные[44].

Главные перекрёстки Галлии, те, где люди должны были сосредоточиться и остаться жить, имели поблизости каменоломни, где можно было резать без стеснения. Марсель вдоль берегов, выходящих из его порта, находил либо тонкий камень Кассиса, холодная и блестящая поверхность которого похожа на мрамор[45], либо крупнозернистый моллас Ла-Куронн и его мыса, откуда фокейцы брали свой вал и где старый город запасается ещё и теперь[46]. Лион должен был разрабатывать на речных путях, сходящихся к Фурвьере, твёрдые пласты Турню[47], пласты Сейселя с мелким зерном, благоприятным для скульптуры, пласты Фэ (Эн), грубые и стойкие[48]. В пределах досягаемости Бордо показывались слои камней за Жирондой, посредственные и с неправильным зерном[49]; но дальше располагались террасами великолепные известняки Нижней Шаранты[50], которые всегда самые востребованные в Западной Европе[51].

Это обилие материалов сопротивления объясняет прочность римских памятников даже в разъедающем климате Трира и Отена. Если мне возразят, что почти все города Запада, от Булони до Бордо, не сохранили ничего из своего прошлого и что не осталось ни одной куртины галльской стены, я отвечу, что вина в этом людей, которые разрушали[52], а не природы, которая была готова сохранять. Она позволила бы жить валам Герговии и Аварики с тем же безразличием, что и самым скромным дольменам, если бы человек не вмешался, чтобы их опрокинуть. Впрочем, судьба обломков галло-римских зданий — доказательство превосходства материала, извлечённого из каменоломен нашей почвы: именно на основании, составленном из фрагментов предыдущих зданий, стены средневековых городов воздвигались веками; и иногда один и тот же камень служил поочерёдно, на протяжении девятнадцати веков, антаблементом римского мавзолея, ярусом коммунального вала, межевым столбом между двумя территориями[53].

Как горный каркас Галлии создал её богатство гранитами и известняками, так множественность и сила её текучих вод чаще всего объясняют обилие отложений пластичной глины, которые распространились на поверхности почвы[54]. На области древнего ледника Рун образовалась эта серая, вязкая и грубая глина, которая позже создаст **богатство** аллоброгских гончаров [55]. Вокруг Центрального плато, на юге как на севере, накапливаются глубокие и доступные слои поддающихся замесу илов: почва Алье, несравнимая как стимул урожаев, — также огромный резервуар белой и лёгкой глины, где кремнезём и глинозём соединяются почти одни, в пропорциях, необходимых для лучшей керамики[56]. Нет ни одного региона Галлии, сколь бы обездоленным он ни казался, который не мог бы производить свой кирпич и свою черепицу[57]; низкие земли Ландов и Голландии слишком часто лишены каменоломен: но кирпичные и черепичные заводы там изобилуют, почти по одному на две прихода[58]. Иногда эти глиняные месторождения оказываются у самых ворот крупнейших городов, как будто чтобы помочь их строить: в двух лье к северу от Марселя и близ берега, среди суровых скал Эстака, нагромождаются розоватые массы пластичной земли, самой элегантной и самой податливой, какую можно видеть[59]: Галлия уже у своего южного входа объявляла себя одной из великих керамических наций древнего мира[60].

III. — ХЛЕБНЫЕ ЗЕМЛИ И ПАСТБИЩА

Флора и фауна страны зависят от климата и природы почвы. Возможно, именно климат в этом отношении имел меньше всего последствий в первобытной Галлии. Если он позволяет культуру оливы только на Юге, если он запрещает северянам культуру винограда, это лишь растения, существование или роль которых были неизвестны самым древним народам нашей почвы. Культивируемые растения местного происхождения не распределялись по зонам широты[61]: поскольку Галлия была страной умеренного климата и почти повсюду без крайностей, она открывалась для одних и тех же производств на своей полезной поверхности: у неё был своего рода сельскохозяйственный фонд, общий для всех городов.

Именно пшеница его прежде всего составляла[62]. Хлебная ценность страны не была ниже той, которую она имеет в наши дни, и урожаи зерновых созревали там в тех же местах. Сегодня наши самые обширные пшеничные регионы — Лимань[63], Бос[64], Тулузская равнина[65], Бри, Нижняя Бургундия[66], Нижнее Берри[67], Суассонне[68]. Кроме, возможно, Бри[69], можно утверждать или имеем право предполагать, что условия и богатства этих земель не являются чем-то новым и что они несли задолго до христианской эры те же обильные урожаи[70]. Из века в век, от Цезаря до наших дней, у писателей встречается периодическое восхищение их колосьями и их амбарами[71]. Также позволительно верить, что наши прекрасные виноградные земли Борделе, Ажене, Арманьяка[72], Сентонжа, Божоле, что блаженные долины Дофине[73] и Конта[74] давали лишь пшеницу в течение многих веков. Но вне этих радостных полей самые узкие и самые высокие равнины имели свои хорошие пахотные земли[75]: Альпы укрывали в своих ложбинах трёхмесячные хлеба, веселье снежных гор[76]. Ни одна страна Галлии не была достаточно оставлена богами, чтобы не иметь своих собственных урожаев, и даже фламандские болота прерывались, чтобы оставить своим племенам поля для возделывания и зерно для сбора[77].

Таким образом, пшеница была распространена почти равномерно по всей поверхности территории: по редкому счастью, самый трудный регион Галлии, Центральное плато, давал проход Лимани, этому океану борозд, где движутся волны урожаев и который поставляет самые полные колосья и самые густые снопы[78]. Если бы народы договорились, голода нечего было бы бояться в Галлии: её пшеница достаточна, чтобы её прокормить. Когда соседние страны страдают от нехватки, именно к ней они обращаются за помощью. Рим иногда питался из её амбаров[79], и Лангедок поддержал армию Помпея в Испании[80].

Но Франция — также страна пастбищ: выпас и пахота долго считались её двумя великими ресурсами, и она обладает сегодня примерно равным числом миллионов гектаров в хлебных землях и в лугах[81]. В этом Галлия ещё походила на неё. Постоянное чередование равнин и гор, соседство наносов и сухих земель способствовали счастливому согласию двух её сельскохозяйственных сил. Древние уже говорили о ней, что она «земля избранная и для хлеба, и для фуража»[82]. Коровы, быки и лошади занимали естественные владения в богатых и влажных долинах Центра, Севера или Савойи[83]; Севенны[84], Пиренеи и Альпы имели для овец свои летние пастбища, и Кро предлагала свои пятьдесят тысяч гектаров тимьяна и пырея стадам зимних перегонов[85]. Наконец, большие галльские свиньи кормились неисчерпаемыми желудями[86] в лесах дубов и буков. На всех точках территории богатое пропитание[87] было обеспечено необходимым жертвам, которых люди древности посвящали нуждам своей жизни: свинья — их пище, овца — их одежде, бык — пахоте, и лошадь — войне[88].

IV. — ПРОДУКТЫ ВОД

Моря и реки, воды Галлии также готовили свои урожаи, столь же обильные и столь же разнообразные, как урожаи земли. Число и прозрачность горных ручьёв, ширина эстуариев, их глубокое проникновение приливом, резервуары, образуемые южными прудами, скалы отелей Океана, контакт с двумя морями и двумя природами — всё давало речной и морской фауне Галлии разнообразие, которого не хватало другим европейским странам. Различные её

регионы дополняли друг друга. Лигурийские и марсельские берега имели свои проходы тунцов[89], а реки Океана — свои подъёмы лососей[90]; кефали изобиловали вдоль нарбоннского берега[91], а лангусты — в окрестностях Лабурда[92]. Пятнадцать видов рыбы, и это была одинаково тонкая плоть, но очень противоположного вкуса и аромата, вылавливались только в водах Мозеля[93]: и некоторые из этих речных видов, как окунь, стоили для гурманов лучших продуктов моря[94]. Легенды ходили об этом богатстве Галлии: говорили о морских прудах, где туземцы без остановки захватывали тысячи существ трезубцами[95], о кельтских племенах, которые бросали рыбу в пищу быкам и лошадям[96]. Почти непрерывный пояс устричных банок следовал за Океаном и Средиземным морем[97]: когда внутренние пути были открыты людям, страсть к этой пище распространилась среди народов, наиболее удалённых от моря, и она станет, вместе с хлебом и свининой, самой обычной во всей стране. У этих народов древности, более жадных до рыбы, чем люди нашего времени, плодovitость морей и ручьёв была, как и обширные поверхности лугов и пашен, одной из причин благосостояния и славы Галлии.

Если этот источник процветания едва замедлился, наши берега почти полностью потеряли свои промышленные богатства. Некогда в крайних углах Галлии пираты и торговцы приходили собирать драгоценные продукты, желанные поставщиками варварских царьков или средиземноморских династов: знаменитый коралл Йерских островов и лигурийских берегов[98], серую и ароматную амбру, которую кашалоты выбрасывали на пески Ландов и Медока[99], и прежде всего самый востребованный драгоценный камень, усладу древнего мира — жёлтый янтарь Фризских островов[100]. Постепенно коралл и янтарь исчезли с наших пляжей и островов, и человек, впрочем, перестал ценить их так высоко. Но во времена греческих предприятий, как пряности в конце Средневековья, они доставляли те прибыли, ради которых моряк подвергается самым долгим приключениям, и, поскольку они встречались на оконечностях или границах Галлии, именно эти поиски часто открывали самым отважным завоевателям моря линию нашего берега и существование нашей страны.

V. — ЛЕСА [101]

Земли, которые не несли ни зерновых, ни фуража, принадлежали лесам и болотам.

Именно леса занимали большую часть галльской почвы[102]: две трети поверхности, и, возможно, больше, были включены в их владение[103]. Они начинались на юге от мысов берега[104] и от перевалов пограничных гор[105] и заканчивались на севере и западе на дюнах и утёсах Атлантики[106]. В течение лета свод зелени, казалось, покрывал всю страну, от буквых лесов Руны[107] и сосен Канигу и Альбер до елей Юры и Вогезов[108], до зарослей мелких деревьев Арденн[109], и от сосен холма Сет и Мон-Визо[110] до дубов армориканского леса Броселианд[111]: бесчисленные и нюансированные волны этого моря листвы поднимались и спускались по самым высоким северным вершинам[112] и затем раскрывались в огромных равнинах внизу. Альпы имели свои леса до контакта с постоянными снегами[113]. На Пиренеях от одного конца цепи до другого чередовались буки и сосны, и моряки, шедшие вдоль берегов Лабурда или Руссильона, узнавали горы по тёмным пятнам их вершин[114]. Самые низкие и самые плоские земли соперничали с высотами в лесных богатствах: Ланды и Орлеанэ[115] растягивали до потери зрения неправильные и глубокие линии своих деревьев и колючие тростники, папоротники и верески своих подлесков. Почти задушенные этими компактными массами, возделанные земли появлялись как узкие прогалины, с трудом пробивающие себе свет вдоль рек, вокруг ручьёв, на террасах или в ложбинах террасированных холмов.

Ни один из регионов Галлии не был лишён лесов. Ещё сегодня каждый из наших департаментов имеет свои, остатки и свидетели прежних[116]. Нет страны в мире, где лесные зоны были бы более справедливо распределены[117]; что, без сомнения, отчасти результат человека, постепенно увеличивающего поверхность культур в каждом регионе и ограничивающего тем самым поверхность лесов; но справедливые пропорции его творения были определены самим строением Галлии. Чередование, установившееся между пахотными землями и лесными запо-

ведниками, происходит от этого равновесия между высотами и ложбинами, хорошими и плохими землями, известковыми илами и гранитными скалами, которое создало вечную гармонию нашей страны[118]; и это чередование можно констатировать, в нескольких точках, с самых древних времён нашей истории. Большой Орлеанский лес, самая обширная лесистая площадь центральной Галлии[119], соседствовал с Бос, самой протяжённой из хлебных равнин, а та, в свою очередь, опиралась на кустарники и заросли Перша: Шартр вверху и Орлеан внизу касались одновременно борозд и высокоствольных лесов. Тёмные высоты Пюи и Фореза обрамляли Лимань; суассонские поля, самые радостные во всей северной Франции, открывались на выходе из Тьераша и Вермандуа, последних рощистей Арденн[120]; чёрный Морван господствовал над весёлой Бургундией; если Ланды, Медок и земля Бюш[121] образовывали самый широкий и самый монотонный из лесов южной Галлии, долина Гаронны компенсировала его самой длинной чередой плодородных наносов и густых культур, какую можно было восхитаться к югу от Луары. Невдалеке от Арля и Бокера, на правом берегу Роны, простирались густые леса высокоствольных деревьев, достаточно богатые, чтобы Ганнибал и Цезарь[122] могли за несколько дней извлечь из них флот для переправы или войны: но напротив этого леса, на левом берегу, расстилались счастливые земли Конта.

В начале нашей истории пропорции не были везде столь регулярными. Некоторые регионы состояли почти исключительно из лесов и пустошей. Мы называли низкие земли Гаскони. От Комбрай до Эгуала непрерывная лесная корона покрывала гранитные склоны Центрального плато: Лимузен, Перигор, Ангумуа, Верхний Руэрг, Жеводан были логовом диких зверей и ужасов[123], и эта наполовину проклятая зона проецировала вплоть до окрестностей Жиронды зловредные заросли Дубль[124] и бесплодные пустоши Бле[125], как защитную марку между Севером и Югом Галлии[126]. Все высокие земли Арморики были покрыты деревьями, и её большой центральный лес, вставая между малыми народами полуострова, оставлял им лишь море как средство согласия[127].

Но именно на северо-востоке, к равнинам Германии, нужно было искать самые непроходимые заросли, самые длинные и самые дикие лесные глубины, те, перед которыми отступали самые храбрые из людей Юга[128]. Великий лес Галлии начинался на берегах Ду и Женевского озера: он объединял под одной массой густой растительности гребни Юры и крупы Вогезов; от Безансона до эльзасской равнины нужно было, чтобы обойти его без слишком большого труда, семь дней непрерывного пути. Как западная Дубль, но более эффективно, он был барьером, защищавшим Север и Юг от их взаимных предприятий[129].

К северу от горы Тоннер, на берегах тревирского Мозеля[130], вогезский лес соединялся с Арденной косою линией[131]. Эта последняя, не будучи длиннее, была более печально известна и более уродлива из-за своих корявых деревьев, кустарников и ежевики, которые контрастировали со стройными елями и великолепными буками более южных гор[132]: Арденна имела от леса прежде всего уродство и монотонность. Она утомляла людей больше, чем пугала. Её видели уже от вермандуаского порога, на горизонте Суассона и Реймса: оттуда, без серьёзной брешки, она бежала на запад, всё более расширяясь, душа Самбру, покрывая всю долину Мааса, заграждая притоки Мозеля[133], едва останавливаемая на мгновение Рейном, течение которого она омрачала нераспутываемыми зарослями скал и мысов; затем она вновь набирала силу на другом берегу, чтобы погрузиться под другими именами в пространства востока[134].

Но Галлия даже с двумя своими великими лесами северо-востока не была исключением в мире. Все страны Европы прошли через это лесное состояние: оно было этапом в их истории. Только Греция и Италия из него вышли, когда Галлия почти повсюду ещё жила в лесах.

VI. — ЖИЗНЬ В ЛЕСАХ [135]

Ибо она там жила. Леса никогда не исключали жизнь и труд людей. Не было между ними и возделанными землями того фундаментального противопоставления, которое любят устанавливать.

Без сомнения, в то время они были населены теми дикими зверями, которых человек лишь начинал изгонять. Северные леса ещё давали убежище чудовищным существам, которые ужасали средиземноморцев: бизонам или турам[136], северным оленям[137], лосям[138], уродливым наследникам первобытного хаоса. Но настоящими обитателями лесов, на севере как на юге, были кабан и волк[139], тем более опасные, что они выходили из леса в зимнее время и угрожали урожаям и стадам племён даже в открытых землях, где те жили[140]. Они были тогда соперниками человечества, его врагами на его земле, его страхами каждого мгновения. Оно чувствовало себя постоянно обязанным с ними бороться, охотясь на одного и преследуя другого. Борьба с кабаном, преследование и страх волка были двумя господствующими мыслями древности: едва ли эти мысли исчезли из морального наследия взрослых людей, и они всегда остаются в душе детей, верное эхо души их самых далёких предков[141].

Но, несмотря на своих противников, человек оставался неоспоримым хозяином лесов. Он применял их тысячей способов к своей материальной и моральной жизни.

Четырьмя главными породами лесов были, как сегодня, бук, дуб, сосна и ель[142]; но они встречались в пропорциях, отличных от нынешних, их зоны не оставались неизменными: буки, дубы и сосны иногда в течение веков обменивались своими владениями[143]. Дуб, в виде скального дуба, рос почти повсюду[144]; но бук ему конкурировал, и его находили в галльские времена во многих южных долинах и равнинах, откуда его соперник его позже изгнит[145]: из всех деревьев нашей страны именно он, возможно, больше всего потерял территории. Берёза[146], вяз[147], тис[148] и самшит[149] появлялись лишь на более ограниченных пространствах.

Ни одна из этих пород не была бесполезной. Сам тис, который считался деревом смерти, служил галлу, чтобы избавиться от настоящей жизни и достичь далёких регионов, где его ждали более сладкие часы[150]. Все другие деревья имели свою роль в повседневном существовании: человек приспособил их к своим нуждам; они доставляли ему его строительный и отопительный лес, пороги, перекладыны и главные балки его дома[151], основания его валов, палубы и кили его кораблей[152], корпус его телег[153] и боевых колесниц. Жёлуди и буковые орешки кормили его скот и в конечном счёте кормили его самого[154]. Леса оказывали ему услуги менее материального порядка. Они защищали его в мирное время и укрывали в военное[155]. Охота на кабана приучала его к мужеству, была образом и школой других боёв[156]. Глубины лесов, их непрерывные своды, их смерть и периодическое возрождение, тысячи аспектов их далей, бесчисленные и таинственные голоса, которые шумят в зарослях, их рокоты, прерываемые внезапной тишиной, их источники и их дыхания дали ему впечатление высших сил, грозных и благотельных[157]: без сомнения, религиозное чувство не родилось исключительно в лесах, но оно приняло там это разнообразие форм и впечатлений, которое внесло больше грации в первые европейские культы. Вера, война, пища, убежище — для всего, в чём он нуждался, человек обращался к высокоствольным лесам своей страны.

Не будем же представлять их как останавливающие человеческую жизнь и противостоящие всякому прогрессу. Они не были заброшены в логова зверей или быстрым проходам охотников. Многочисленные народы всегда избирали там жилище[158]: сколько галлов назывались Сильванус или Сильвинус[159], и сколько французов — Дюбуа или Дюбоск! Лесорубы, сапожники, собиратели хвороста, угольщики, пастухи, смолокуры, кирпичники, гончары, кузнецы, токари и другие спутники лесов обитали постоянно в лесах. Они имели свои гробницы, свои святилища и своих жрецов, свои тропы и свои перекрёстки[160]. Нормальная жизнь там циркулировала.

VII. — БОЛОТА [161]

Влажные земли болот, в отличие от лесов, приостанавливали или замедляли жизнь.

Разумеется, они тоже никогда не были абсолютными пустынями[162], и я даже не знаю, существуют ли, вне вечно ледяных регионов, чистые пустыни. Болота Галлии, сколь бы непре-

рывными они ни казались, всегда прерывались почти сухими островками, наибольшие из которых несли деревни, наименьшие удерживали хижины и несколько семей хижинников[163]. Строительство свай могло аннигилировать болото или, скорее, сделать из него самую эффективную защиту от зверей или врага. Так что самые обширные болотистые пространства имели свои человеческие племена, как имели свою флору и фауну. Люди Средневековья говорили об этих дикарях болот, ненавидящих, непокорных, жестоких, которых они считали глупыми поклонниками дождя и которым искали таинственное и далёкое происхождение[164]: вероятно, их предки не пришли ниоткуда и эти печальные пространства всегда имели своих обитателей. Ни прибрежные болота Океана не отталкивали моринов и менапиев, ни болота Арденн — эбурунов. Они прекрасно знали их секреты и их предательства[165]. Ибо самые глубокие торфяники представляют, рядом с дырами смерти, гати на уровне воды, которые местные люди находят без труда: но, вступив туда, ни один чужак не продвигается без непосредственной опасности.

Однако лишь жалкую жизнь истощённых и лихорадочных предлагало болото своим хозяевам. Существование там было столь же монотонным, как горизонт; смерть угрожала со всех сторон. На почве — здесь капризы трясин[166], а там трава, иногда столь же нездоровая, как сама вода и воздух[167]. С поверхности миазмы лихорадки поднимались с мириадами насекомых, чтобы грызть людей: периодические эпидемии, великие заразы, от которых страдала Франция до семнадцатого века, пришли из её болот. Это была, говорили, мёртвая земля, и которая заставляет умирать[168].

Однако по всей поверхности Галлии болотистые низины затрудняли культуры и заграждали естественные пути[169]. Они непомерно расширяли малейшие ручьи. Более чем леса и горы, они были препятствием, которого Цезарь боялся: за ними галлы смеялись над Римом[170]. Они помешали вдоль Эссонна проходу Лабиена, шедшего против Парижа[171]; они защищали Бурж на трёх четвертях его периметра[172]. Более частые на севере, они не были редки на юге. Берег Лангедока был ими испорчен от устьев Роны до мысов Альбер[173]: Арль тысячу раз рисковал быть островком в болотах без периодических усилий своего старого Общества очистки[174]; дорога из этого города в Тараскон и Ним, самая посещаемая в галльском мире, часто прерывалась, даже в римскую эпоху, всегда возрождающейся грязью[175]: чудовище Тараск — лишь провансальская гидра христианских легенд[176]. Устья всех рек и всех ручьёв Атлантики были деформированы болотами, от Нивель Сен-Жан-де-Люз до торфяников Фрисландии.

Впрочем, именно на этой стороне Галлии находились два самых обширных пространства стоячих вод, два главных изъяна нашей страны. — Между Пуату и Сентонжем болота Севр-Ниортез[177] проникали в глубь земель на глубину более десяти лье, на ширину, доходящую иногда до пяти лье[178], и эти земли Люсона, Майеэ, Маранса образовывали поистине самые грязные епархии[179] Франции. — Но Галлия, простиравшаяся до Рейна, имела регион более мрачный, ещё более огромное пятно: от последних холмиков земель Брюгге и Гента до первых склонов вестфальской равнины стоячие верши, в которых переплетались меандры Рейна, Мааса и Шельды, прерывались лишь лесистыми островками, земля которых была более предательской, чем сама вода[180]. Великие реки текли медленно через часто затопляемые равнины, которые делали их устья похожими на моря без берегов[181]. В этом крайнем регионе Галлии болота дополняют границу и лучше, чем Альпы и Пиренеи, защитят одних от других соседние и враждебные народы. И, с другой стороны, непроходимые для сильных отрядов захватчиков, они смогут дольше укрывать независимость нации[182].

VIII. — О БОРЬБЕ С ЛЕСАМИ И БОЛОТАМИ

Величие лесов, частота болот были главными препятствиями, затруднявшими цивилизованную жизнь. Пока обитатель не сократит одни и не укротит другие, почва не будет ему принадлежать и наполовину. Он будет ею обладать лишь ценой двойного завоевания.

Это завоевание было тем более желательным, что опыт рано показал ему превосходство новых земель для культуры. Низины осушённых болот содержали иногда самые жирные земли, наносы, самые богатые элементами интенсивного производства: разве лучшая равнина Галлии, Лимань, не была древним болотом? и разве её название не означало ещё «болото»[183]?

Но речь шла не только о полях, которые нужно приобрести, или о дорогах, которые нужно проложить. Леса и болота захватывали земли, наиболее благоприятные для формирования больших городов. Муниципальная жизнь, как и сельская, установится лишь за счёт этих двух врагов. Поскольку естественные перекрёстки, где воздвигаются города-матери, почти все расположены в самых низких частях, на морских берегах, на берегах или при слияниях длинных рек, человек был предвзят и стеснён в этих точках обширными и жалкими пустынями, сделанными из грязи и кустарника, затопляемыми нерегулярными водами соседних берегов; и столицы мира, земли сегодня самые твёрдые и самые живые, часто те, чья почва дольше всего была неопределённой, которую человечество присвоило позже всего[184].

В самом Марселе компактные скалы, на которых город возвысится, были на три четверти блокированы болотами со стороны земли; там, где строится гордая Канбьер, расстилались болота, продолжавшие порт[185]; белые холмы окрестностей, оживлённые сегодня бесчисленными бастидами, где рассыпаются шумы праздников, исчезали под черноватыми массами неприкосновенных лесов[186]. — Бордо, как Марсель, был сначала лишь полуостровом, окаймлённым одновременно живыми и стоячими водами[187]. Ручьи, укрывавшие лодки его первых обитателей, извивались через болота, которые покрывали самые большие приливы Гаронны и откуда чума и тиф выходили, чтобы косить людей: Фасад Шартрон, ещё более тщеславный, чем Канбьер, покоится на этих низинах, столь долго смертоносных. На земле гравия, в более возвышенных местах, где грязь больше не застаивалась, начинались глубокие леса Медока и Ландов. Болото в центре и лес в предместье — в начале жирондской метрополии[188]. — Эти же два соперника городов держали Лион: лес до окрестностей Фурвьера и, возможно, до самого Фурвьера, там, где будет галльский и римский город; болото между двумя реками, в Перраше, Эне, Терро, там, где основался и расцвёл современный город[189]. — Наконец, в Париже весь правый берег, от Шарантонского Конфлана до Пасси, принадлежал болоту, память о котором сохраняется названием знаменитого квартала: в этой точке разливы реки были иногда так ужасны, что там терпели кораблекрушение, как в открытом море[190]. На левом берегу почва поднимается, более надёжная и более полезная, с горой Сент-Женевьев; но выше по течению грязи Бьевра[191] заканчиваются лишь у подножия холма, а ниже начинаются грязи малого Пре-о-Клер[192]. Затем на этой стороне высокие земли были покрыты лесами: Монруж отмечает в нескольких шагах от парижской Сены[193] последнюю вершину *vastoro* леса, остатки которого, одомашненные, сохраняют Мёдон и Бельвю.

IX. — ТОЖДЕСТВО КЛИМАТА[194]

Физическая история Галлии будет, следовательно, в очень большой части — формированием пахотной почвы и муниципальной мостовой за счёт леса и болота. Расчистка, осушение — вот два **существенных** эпизода её внутренней жизни. Материальный прогресс неотделим от определённого отступления влажности. Ибо устойчивая влажность — свойство этих крепких и наполовину девственных природ, каковой была Галлия двадцать пять веков назад, каковыми ещё являются земли огромных речных бассейнов Африки и Америки. Долины наших великих рек должны были местами производить на греков и римлян то же впечатление, что Замбези на Ливингстона или Конго на Стэнли, с болотами их берегов, бесконечными лесами их склонов, влажностью их атмосферы, их синевато-зелёными травами и их зеленоватыми водами, криками или мычанием их диких птиц [195]. Окрестности самой Роны во времена Тарквиниев не отличались от окрестностей Рейна во времена Цезаря. Болота и леса, воды и стоячие листья поддерживали Галлию в состоянии интенсивной влажности, которая будет

ослабевать по мере их исчезновения: и это насыщение воздуха и почвы было, возможно, единственной чертой климата прошлого, которой больше не представляет нынешний.

Температура нашей страны действительно не изменилась с исторической эры. Солнце там сияло с тем же теплом, что и сегодня; времена года следовали там с теми же переходами. Февраль имел свои густые и поздние снегопады в Севеннах[196], март и апрель — свои шквалы дождей[197], май и июнь видели, как растут реки[198]; в конце сентября падали первые снега на Мон-Сени[199]. Фураж косили, пшеницу убирали в те же эпохи[200]. Ни олива, ни виноград не росли на Севере выше, чем они обычно достигали[201]. Нет ни одного из древних описаний горных перевалов, которое не было бы ещё строго верным. Мистраль Прованса, Корус Альп дули с их нынешней силой и приносили похожие опасности; на берегах Бискайского залива режим ветров, кажется, остался неизменным[202]. Наши реки имели примерно равный сток, кроме, возможно, того, что облесение гор делало их наводнения менее внезапными и менее серьёзными[203]. Температура их вод не изменилась. Когда они замерзали, это было лишь в годы исключительной суровости. Император Юлиан скажет о пребывании в Париже: «Зима там мягкая благодаря тёплым испарениям, идущим от Океана: поэтому страна производит хорошие виноградники; и даже может иметь смоковницы, когда принимают предосторожность укутывать их соломенными мантиями в плохой сезон. Если холод более суров, чем обычно, река несёт льдины, и случается даже, что два берега соединены как бы мостом»[204]. Ни одна из этих деталей не перестала быть точной.

Но что исчезло в Париже, как и во всех обитаемых и возделанных местах, — это постоянный контакт человека с водой, непрерывность влажных земель и, следовательно, частота глубоких источников и бьющих ключей.

Х. — ОБИЛИЕ ИСТОЧНИКОВ [205]

Обилие живых и чистых вод, бьющих из поверхности или разостланных подземными слоями, — факт, который нужно запомнить и который объяснит многие другие в истории людей и почвы. Зрелище, которое предлагает Овернь в момент дождей, этих источников, бьющих из всех скал, шумящих под каждой травяной кочкой, чистых, активных, подвижных, радостных, имеющих каждый свою собственную манеру и свой собственный шёпот, человек древности знал почти во всех галльских регионах[206]. — Именно в этих источниках он больше всего нуждается — и он, и его поля, и его скот: ибо для всякого дышащего существа жажда — более ужасная мука, чем голод; они — условия или причины жизни почвы и жизни человека, их богатства или их могущества обоих. Поэтому все регионы мира, несмотря на бесконечные различия почвы и климата, походили друг на друга в этом: что в пустыне вокруг вод оазиса, в Галлии вокруг самых обильных источников человеческие группы устанавливались на постоянное жительство и что всегда фонтан города и колодец деревни — места, где наиболее часто пересекаются люди и новости[207].

Многие из этих ручьёв исчезли. Конец лесов был в деревне концом большого числа из них[208]. Те, что образовывались в окрестностях городов, были уничтожены по мере того, как прогресс построек иссушал или портил их воды. Ибо муниципальные цивилизации, разрастаясь, испортили источники и загрязнили реки. Посмотрите, что Париж сделал с Сеной, столь прозрачной, столь красивой для взгляда, столь хорошей для питья[209], во времена императора Юлиана. Наши города превращают колодцы в клоаки, а реки в сточные канавы[210]; и, по странному возврату вещей, пока они осушают болота, эти древние очаги чумы, они создают новые центры инфекции из благодетельных источников прошлого.

Но чтобы понять, как наши города, большие и малые, родились и процветали, нужно помнить об источниках, которые производила почва, теперь замощённая. Самый счастливый из всех, конечно, — фонтан Нима: ибо это имя, Немаус, было именем источника прежде, чем стать именем города, который он вызвал; сегодня, почти столь же богатый и столь же чистый, как прежде, нимский Фонтан ещё свободно выходит из склонов горы Кавалье: обилие его вод,

сыновья религия его народа, постепенное удаление построенных кварталов обеспечивают ему бессмертие[211]. Но везде в других местах муниципальные источники — лишь воспоминания[212]. Многочисленные колодцы открывались некогда на холме, который нёс старейший Марсель[213]; живые воды бежали к морю в равнине, где построен квартал Жольет[213]. В Бордо ясные струйки воды спускались с маленьких скал Сен-Андре и Пюи-Полен или текли через болота внизу, как Одеж Общественного сада, Тропейт *cours* Шапо-Руж[215], и эта Дивон или Девез примитивного города, которая была некогда столь же прозрачна, как глаза Минервы[216], и которая выжила лишь, позволив превратить себя в невидимую и отвратительную сточную канаву.

XI. — ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ [217]

Только минеральные и термальные воды были благочестиво сохранены надеждами или признательностью людей, которым они были предназначены [218]. После двадцати пяти веков социального существования они почти все сохраняют свой дебит, свою популярность и своё предполагаемое действие.

Они были некогда одним из благодеяний и одной из слав Галлии, и, возможно, ещё Франция — страна, которая удерживает больше всего купальщиков в своих внутренних курортах[219]. Ни одна страна не имела большего числа целебных источников и более разумно распределённых по всем регионам своей территории. Каждый из наших горных краёв будет иметь свою линию терм, на самой опушке низких земель: Вогезы и Арденны — от Люкёй до Ахена, Альпы — от Эвиана до Экс-ан-Прованса, Пиренеи — от Амели-ле-Бен до Дака: ибо по драгоценному преимуществу именно на галльской стороне находится главный пояс целебных вод, пришедших с пограничных гор. В центре страны горячие источники бьют почти непрерывной чередой вокруг северного плато: Вальс, Ламалу, Шодезг[220], Вик, Мон-Дор, Ла-Бурбуль, Руайя, Нери, два Бурбона, Виши. Ни один больной не подвергался слишком долгим путешествиям: если он был доверчив, у него рядом был источник-панацея. Наконец, что в этом отношении завершило делать Галлию полезной и знаменитой — это то, что её главные источники не были далеки от её величайших дорог. На востоке находили Экс-ан-Прованс[221] при прибытии из Италии по береговой дороге, и Экс-ле-Бен — по дорогам высоких Альп[222]. Источники Амели-ле-Бен[223], Нее Дака с почти кипящими водами[224] выходили из земли: одни у выхода Пертюса, другой — у выхода перевала Ронсеваль. Доступ к Люшону, Баньеру, Котре[225] проложен самыми весёлыми ложбинами южной Франции. Виши наконец, самый популярный из всех курортов, — в самом центре страны, в соседстве Лимани и в пределах досягаемости Лиона[226]. Самые целебные воды текли, следовательно, близ мест, где люди проходили или оставались в наибольшем числе. Галлия нигде не теряла ощущения этих вечных огней[227], которые согревали источники почвы и жизнь больных.

Это были слова «здоровье»[228], «благосостояние», «богатство», «изобилие», которые быстрее всего приходили на ум древним, когда они говорили о Галлии, думали ли они о её водах, её климате, её хлебах или её золоте. «Страна, восхитительная во всём», — говорил один из них[229]. «Она имеет в себе источники своего счастья», — говорил другой[230].

Но во время, о котором мы говорим, Галлия не знала полностью своих благ, она ещё не соединяла всех условий, которые делают хорошую жизнь земли и людей. Природа там была более свободной, более загромаждающей, чем теперь; она сжимала народы со всех сторон своими лесами, своими болотами и своими живыми водами: менее дисциплинированная, она была тем самым менее разнообразной, более монотонной. Ни виноград, ни олива ещё не появились. Культуры не представляли того разнообразия, которое является маркой элегантности нашей страны. Контраст, который сельская жизнь установит позже между Севером и Югом, существовал лишь в состоянии наброска. От устьев Роны до устьев Рейна ценность почвы и элементы жизни существенно не различались.

ГЛАВА IV. — ЛИГУРЫ [1]

I. — ЛИГУРИЙСКОЕ ЕДИНСТВО ГАЛЛИИ [2]

Это были народы одной и той же природы, которые в шестом веке до нашей эры занимали почву всей Галлии. Греки, первыми заговорившие о них, называли их лигурами, Λίγυες; латиняне скажут Liguses[3] или Ligures[4]: мы не знаем, было ли это имя придумано иностранными мореплавателями[5] или было тем, которое они давали сами себе. — Гораздо позже, во времена Мария, лигуры Апеннин взяли в качестве национального названия имя амбронов[6]: не невероятно, что это слово было некогда в употреблении у большей части народов этого вида[7].

Но древние исследователи, пришедшие с юга или востока, из Гадеса или Фокеи, никогда не употребляли иного слова, кроме «лигуры», для обозначения всех обитателей галльской страны. Они давали его также племенам побережья Прованса[8], туземцам бассейна Роны[9], народам Нарбоннской равнины[10]. Лигурами, говорили, были также те, кто обитал вдоль большого залива Атлантики[11]; и это имя применяли к ещё более далёким племенам, которые бродили по берегам и в лесах Северного моря[12]. Даже в эпоху Цезаря в греко-римском мире ещё помнили о далёких временах, когда лигурийское имя безраздельно распространялось на всю Галлию[13].

Все эти люди, разумеется, не были похожи друг на друга. Но различия, разделявшие их, были менее ощутимы, чем общие черты. Они производили на тех, кто их посещал, впечатление единства, а не расхождения. Рассказы мореплавателей или традиции поэтов не говорят иначе о лигурах Внутреннего моря и о лигурах Океана[14].

Вероятно, главным элементом их единства был язык: ибо язык был в древности, как и в наши дни, самой сильной связью между людьми и более всего позволял объединённым племенам создать общее наследие обычаев, воспоминаний и богов; и из отличительных черт population именно его замечают прежде всего иностранцы.

От этого языкового единства у нас ещё много свидетелей в названиях неровностей французской почвы — гор, озёр, рек и источников. Великое большинство этих названий происходит от людей, населявших Галлию до галлов[15]. А они имеют между собой поразительные аналогии. Ручьи Прованса, Лангедока или Гаскони часто называются так же, как ручьи Нормандии, Бретани или Бельгии: у области Вар есть свои Гаронны, как у Тулузы и Бордо — свои[16]; сколько Див[17], Диветт[18] или Дивонн[19], сколько Бьевр, Бевронов или Бевронн по всей Франции[20]! Ло, бордоский Одеж, майеннский Удон — слова, образованные от одного корня: Oltis, Oldeia, Oldo[21]. Есть Жарре или Жье близ Марселя и близ Лиона[22]. Женевское озеро и Лимань — одно название и означают одно и то же. Лес Арденна существовал в Нормандии[23], и другой — в Сентонже[24].

И к этим примерам можно добавить сотни, около или более тысячи[25]. Следовательно, один и тот же идиом должен был долго быть в употреблении у всех лигуров, от Рейна до Пиренеев, от Альп до Океана. Они навязали свой язык этой обширной стране, они навсегда закрепили его слова на её реках и источниках: они были для нашей страны первым ферментом единства.

II. — О ЛИГУРИЙСКИХ ТОПОНИМАХ

Все эти названия, без сомнения, были сначала лишь нарицательными именами. Они относились к цвету или шуму реки или горы; они означали, я полагаю, белую воду или бегущую воду, чёрную воду, белую скалу или красную гору, реку бобров[26] или божественный источник[27]. Прежде чем стать, вследствие противоположных изменений, собственными именами разных ручьёв, эти слова были сначала эпитетами состояния. Они говорили о том, как человек воспринимал природу или описывал облик земли, которую населял.

Эти слова, особенно названия водотоков, имели невероятную жизнеспособность. Мы неохотно меняем термины, которые привязаны к постоянной жизни почвы: люди приходят и уходят, миграции народов проходят и разрушают: но названия рек и гор остаются почти столь же неизменными, как их склоны, и древние хозяева земли передают вместе с ней эти названия завоевателям. Альпы и Севенны, Рейн, Рона, Луара и Сена и самые скромные источники, несмотря на человеческие революции, которые всё вокруг них перевернули, вечно хранят слова, данные им нашими первыми известными предками. Лигуры, придумав эти слова, положили начало исторической жизни форм нашей почвы[28].

III. — ЛИГУРЫ ВНЕ ГАЛЛИИ[29]

Но лигуры не были *population*, свойственной только Галлии. Ни горы, ни Рейн, ни моря никогда не заключали их в этой обширной стране. Их находят далеко за нашими границами, во всех регионах Запада, не ища ещё дальше.

В Италии, в Испании, в равнинах и горах Германии, на островах Средиземного моря и на островах Океана они, как и в Галлии, оставили как следы названия водотоков и названия гор. Испания и Великобритания имеют свои Дивы, одноимённые французским ручьям[30]; Дуэро — то же слово, что итальянские Дойры[31]; французская Сена, *Sequana*, означала то же, что Хукар к югу от Пиренеев, носивший похожее название *Sicana*[32]. Почва Ирландии и соседнего большого острова снабжена словами, происходящими из лигурийского языка[33]: он был, я думаю, языком тех групп туземцев, родившихся на британском острове, которых галлы оттеснили внутрь и которых Цезарь ещё знал[34]. Изер Альп, Уза бельгов, Изар Баварии все три также назывались *Isara*[35]. *Vesuna* была почти повсюду в западном мире источником, ставшим богиней, у италиотов, в Перигоре и близ Арденн[36]. Германский Рейн и болонский Рено[37] происходят от одного корня, как Мон-Визо и Мон-Везувий[38]. Даже холмы и священные источники Рима или Этрурии остались отмеченными печатью этого идиома, первого, который реализовал, до латыни, единство Запада. Древнее название Тибра, *Albula*[39], встречается в названии Эльбы, *Albis*, и эти две верховные воды римского и германского народов оказались одноимёнными[40]. Севенны, *Cimenice regio*[41], которые замыкали как стена горизонт равнин Лангедока, назывались так же, как те кеминские горы с глубокими лесами, *saltus Semini*, которые блокировали на севере взгляды жителей берегов Тибра[42]. Название Авентина, которое от источника, я полагаю, перешло к плебейскому холму Вечного города, напоминает название многих ручьёв лигурийской земли: гасконская Аванс, тосканская Авенца, геллветический Аванш[43]. И это перечисление могло бы быть бесконечным[44].

Сами древние сохраняли очень точное понятие о периоде, когда лигуры занимали весь Запад. Во времена римских завоеваний область Генуи рассматривалась как лигурийская страна, а её обитатели — как последние наследники этого имени: оттеснённые отовсюду, они сохраняли лишь на каменистых землях последних Альп и первых Апеннин свой диалект и свои обычаи[45]. Но знали и повторяли, что они в самой Италии господствовали над равнинами По[46] и Арно[47], и традиция говорила, что первые обитатели Семи холмов, подданные Фавна и соседи Эвандра, были не кем иным, как лигурами[48]. Легенды и топонимия везде согласовались. Корсика им принадлежала[49]. Их доводили до Сицилии[50], и о них без конца говорили в Испании[51]. Их следы находили ещё недалеко от Гадеса, и болота, через которые протекали воды Гвадалквивира, назывались некогда Лигурийским озером[52]. — Таким образом, память об этом роде людей сохранялась даже в этих двух углах мира, Рим и Гадес, откуда началась известная история Западной Европы.

Племена, которые называли этим именем лигуров, следовательно, за десять веков и более до нашей эры покрыли все западные земли своими многочисленными массами. Никакое заметное различие языка не разделяло обитателей этих обширных регионов. Самые чёткие географические границы, Альпы и Пиренеи, исчезали под слоями людей, похожих друг на друга[53].

Затем иностранные влияния или спонтанные трансформации дифференцировали полуострова Юга. Отряды чужеземцев пришли там расположиться то тут, то там поверх лигурийского фона[54]; язык там почти повсюду изменился, первоначальное имя там скрылось в неточных традициях. Организовались в Италии, в Испании отдельные группы, политические индивидуальности, каждая со своим идиомом и своей амбицией. Естественные регионы Европы постепенно освободились от тёмной монотонности первых времён. Могущественные нации сформировались в больших плодородных бассейнах самых тёплых земель. Испания имела тартессиев в Андалусии, самой богатой долине мира по её хлебам, стадам и металлам: и это было, возможно, самое древнее государство Запада, единственное, сравнимое по своему процветанию и древности с империями Нила и рек Месопотамии[55]. Иберы образовались вокруг Эбро, этруски — вокруг Арно, латины — близ Тибра[56].

Уже в шестом веке эти четыре нации имели за собой долгое прошлое фактов и имён[57]. В то время Галлия и соседние земли, остров Бретань, Альпы и Пиренеи на обоих их склонах ещё не получили внешнего вторжения или внутреннего импульса, который должен был дать толчок новой жизни. Начальный толчок там был поздним. Дольше, чем южные земли, они оставались в глазах иностранцев лигурийской зоной с плохо определёнными границами. Когда греческие географы говорили об этих народах Севера, они группировали их под этим названием Λίγυες, лигуры, в котором все они терялись в **смешении** [58].

IV. — ГИПОТЕЗЫ О ЛИГУРИЙСКОЙ РАСЕ И ЯЗЫКЕ [59]

Из того, что все обитатели Галлии назывались одним именем, из того, что они говорили на одном языке, не следует, что у них было общее происхождение и что они были потомками предков одной расы.

Из единства имени не будем заключать к единству расы. Древние игнорировали названия чисто этнического порядка, то есть определяющие физические признаки группы похожих людей: их названия народов имеют политическую, лингвистическую или географическую природу. Иберы, египтяне, этруски или нумидийцы означали племена, которые обитали в одном регионе, которые понимали друг друга или говорили на одном языке. Те, кого позже назовут кельтами и бретонцами [60], будут одновременно внуками иммигрировавших галлов и туземных лигуров. Кто может сказать, сколько пеласгов осталось у эллинов и аборигенов у латинов? Сами евреи, сыны Израиля, не были ли они отчасти отпрысками хананеев, которых они нашли и оставили жить на Земле Обетованной [61]? Впрочем, Израиль, Лаций, Эллада и Кельтика — национальные имена, которые народы дали сами себе, тогда как имя лигуров — возможно, необдуманное создание географов или путешественников, пришедших издалека. Единство идиoma также не доказывает единства происхождения. Раса и язык — два совершенно разделимых факта [62]. Сколько людей говорят на арабском, у которых в жилах нет ни капли семитской крови! Народы древности были так же способны разучиться своему языку, как и нынешние. Возможно, даже более: ибо верность материнскому говору поддерживается сегодня чувством патриотизма и литературными традициями, которых, я думаю, не было у более древних народов. Галлии потребовалось пять или шесть веков, чтобы потерять употребление кельтского, и ещё меньше Этрурии, чтобы забыть этрусский.

Во времена Стилихона без конца повторяли слова «римляне» и «латинский язык»: и никогда в истории мира не было скопления людей более разнообразных по природе и более далёких от происхождения, указанного их именем и их идиомом, чем те, кто носил имя Рима и говорил на его языке.

Не будем поэтому рассматривать лигуров как единообразных представителей определённой расы. Они — **население**, обитавшее в Западной Европе до известных вторжений кельтов или этрусков, до рождения латинского или иберийского народов. Они не что иное [63]. Но сколько миграций, завоеваний, войн, империй и смешений являются их результатом? В какой пропорции они происходят от людей, сменявших друг друга на их почве? От тех, кто обитал в

пещерах и рисовал тонкие и мощные фигуры гротов эпохи северного оленя? От тех, кто умел обтёсывать и полировать камень? От тех, кто изобрёл использование металлов и изготовление бронзы? Мы этого не знаем, и я боюсь, что никогда не узнаем. За племенами седьмого века стоит **грозная** масса человеческих жизней, половых союзов, образований и распадов государств и вторжений по земле и по морю, переплетение языков, типов и привычек, которое ускользает от всякого анализа. Лигурийская эпоха — просто конец и следствие этого долгого прошлого [64]. Что в различных элементах, образовавших физический тип лигуров, был один преобладающий; что они принадлежали в большинстве к одной из великих человеческих рас, разделяющих мир, — это весьма вероятно. Но никто в текущем состоянии науки не имеет права утверждать, что обнаружил, какой именно была эта раса.

И однако утверждения по этому вопросу были столь же категоричны, сколь противоречивы. От книги к книге наталкиваешься на абсолютные и противоположные выводы, не зная мотива, который делает утверждения столь сильными. Берберы[65], египтяне[66], галлы, баски и иберы[67], монголы — все названия народов или рас были произнесены, чтобы создать родство лигурам. — Они представляли, говорят одни, неарийские народы Запада, предшествовавшие и чуждые великим потокам людей, которые позже излила на него индоевропейская раса [68]; и это были, добавляет кто-то, обломки орд, пришедших из Африки, дочери сильной расы, которая некогда могла претендовать на все земли Средиземноморья[69]. — Другие отвечают, что большинство лигуров были арийцами в том же смысле, что и новоприбывшие, что они едва отличались от своих захватчиков и что галльские лигуры были лишь индоевропейцами первого призыва и, так сказать, кельтами до кельтского имени[70].

К этой гипотезе я склоняюсь в настоящий момент и с каждым днём всё более. Я должен, однако, признать, что она опирается лишь на один аргумент — тот, который даёт язык лигуров[71]. И этот аргумент имеет в себе две причины слабости. — Во-первых, как только что было сказано, язык не доказывает расу: лигурийский мог быть, как позже кельтский и латинский, навязан туземцам несколькими горстями завоевателей. — Затем истинный характер этого идиома ещё очень плохо установлен.

Единственные обломки, которые он нам оставил, — это лоскуты его словаря: едва дюжины нарицательных имён с достоверным смыслом[72] и много топонимов и антропонимов, которые, без сомнения, тоже нарицательные имена, но объяснение которых предположительно[73]. — На первый взгляд ни по их созвучию, ни по способу образования, ни по возможному смыслу ни одно из этих слов заметно не отличается от индоевропейских языков[74]. *Bodincus*, лигурийское название По, означало «без дна»: *bod-* напоминало бы, следовательно, германское *boden*, почва или дно, и *bodincus* равнялось бы по смыслу и виду *bodenlos*[75]. Название амбронов, которое давали себе итальянские лигуры, не было ли также названием народа, галльского или германского, сопровождавшего кимвров и тевтонов? и когда амброны и лигуры столкнулись в битве при Марии, именно это имя как боевой клич было выкрикнуто с обеих варварских сторон[76]. Кажется, что *berg-* у лигуров означало что-то вроде «высота», или «гора», или «укреплённый замок», и думают то о *berg*, то о *burg* германских языков[78]. *Garonna*, которая несомненно лигурийского происхождения и, возможно, одно из их любимых определений для рек и ручьёв, заставляет вспомнить латинское *garrige*, *garrula* — «болтливая»[79]. В случае если *Rodanus*, Рона, переводится как «водоток», он напоминал бы литовское *ritù*, «я качу», ирландское *rethim* и бретонское *redann*, «я бегу»[80]. Если верно, что источники, называемые *Dive* или *Divonne*, получили это слово от лигуров и что они означают «святой» или «божественный», вот у них один из корней, *div-*, самых известных и самых общих в индоевропейских языках. Не была бы их [язык] их очень древней сестрой, раньше отделившейся от общей матери, чем латынь, галльский или германский[81]?

Беда в том, что, говоря это, мы строим общую гипотезу на частных гипотезах. — Ни один из предыдущих переводов не бесспорен. — Все эти слова дошли до нас обезображен-

ными и как бы дезорганизованными латинскими или греческими транскрипциями, и они, возможно, так же отличны от своей истинной формы, как Carthago и Καρχηδών от пунического слова Kart-Hadchat, которое их определило. — Наконец, несколько сходных слов, констатированных у кельтов, германцев или латинов, могли быть заимствованы ими из идиома народов, которые их предшествовали. — Ничто в области лингвистических доказательств не является более деликатным, чем то, что даёт изучение словарей: они часто столь же богаты заимствованиями, сколь и собственным достоянием. — Чтобы судить наверняка о языке лигуров, нужно было бы знать о нём нечто иное, чем разложившиеся лоскуты, знать его механизм, способы флексии или соединения, вариации форм и правила синтаксиса. Об этом мы не будем знать ничего до момента великого эпиграфического открытия. Ни одна лигурийская фраза, хорошо охарактеризованная, до нас не дошла[82]. — Индоевропейское происхождение этого языка — наименее невероятная из гипотез, которые он внушил: это всё же лишь гипотеза.

И однако именно лингвистика даёт единственное средство предположить что-то о происхождении и семье большинства лигуров. — Антропология ещё более хромает.

Без сомнения, они оставили от себя скелеты и черепа; среди костей болотных стоянок и дольменов многие происходят от народов, которые называли этим именем. Все эти человеческие останки были в наши дни каталогизированы, измерены, сравнены с бесконечной тщательностью. — Но из этих исследований до сих пор ничего решающего не вышло. Поскольку эти гробницы не датированы наверняка, поскольку вид умершего скрывается под полнейшей анонимностью и поскольку они дали черепа двух типов — одни длинные, другие короткие, с множеством промежуточных variations, — вышли из затруднения лишь категорическим утверждением: символ веры заменил рассуждение. Черепа лигуров, говорит один, — это брахицефальные черепа, что указывает на монголоидную расу[83]; это, говорит другой, долихоцефальные черепа, что привязывает их к большой средиземноморской семье[84]. — Заметьте, что некоторые теперь спрашивают, образуют ли долихоцефалия и брахицефалия типичные признаки расы, а не универсальные варианты человеческого скелета[85]. Рассуждая так о лигурийских черепах, идут от неизвестного к неизвестному и применяют к неполным наблюдениям произвольные принципы. — Антропология, конечно, восхитительная наука, именно ей будущее, я думаю, готовит больше всего триумфов: только она сможет обнаружить эти бесконечно малые [элементы] мозга, скелета или органов, которые объяснят различные темпераменты людей и народов[86]. Но сегодня, как многие другие науки, она в начале пути: и в силу своей молодости она приносит лишь тяжёлые ошупью поиски в сложных проблемах лигурийских **народов** [87]. Каково бы ни было, впрочем, их происхождение, были ли они арийцами или нет, они полностью слились с теми, кто их завоевал. Ни в Италии, ни в Галлии, ни в Испании они не защищали вечно свой тип, свой язык, свои собственные привычки. Если некоторые из них в Альпах, Апеннинах, Пиренеях и Грампианских горах сопротивлялись дольше соседним влияниям, это зависело главным образом от природы их страны и от некоторых политических условий. Но рано или поздно это сопротивление было сломлено, кроме, возможно, Страны Басков, где вероятно, что лигурийское прошлое многое оставило [88]. Но от этого прошлого не осталось никакого сколько-нибудь чёткого следа даже в средиземноморских регионах, которые ещё принадлежали ему во времена императоров. Из варварских языков, известных древним, именно лигурийский римляне воспринимали дольше всего на итальянской земле, в апеннинском регионе: однако всякий след его исчез из нынешнего диалекта Ривьеры Генуи, и собственные черты мужчин и женщин этих земель могут объясняться природой их почвы и условиями их жизни. В Галлии менее чем через шесть веков после кельтского завоевания Цезарь больше не слышал о лигурах. Ни их раса, ни их язык не делали их невосприимчивыми к глубоким трансформациям [89].

V. — ФИЗИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ [90]

Изучение физического и морального темперамента лигуров наконец выведет нас из непроницаемой тьмы, в которой остаётся проблема их происхождения. У нас есть для его познания очевидцы. Те, кто обитал на берегах Сардинского моря, в Альпах Прованса и северных Апеннин, часто посещались со времён основания Массилии греческими путешественниками и римскими генералами: они были тщательно **наблюдаемы** некоторыми; свидетельства, которые о них принесли, все согласуются [91]. — Вот портрет, который набрасывали около христианской эры об этих лигурийских народах, последних видимых ветвях народов, чьё имя занимало весь Запад. — Это был суровый род людей [92]. Лигур не блистал внешнею: его страна была бедна, он плохо питался, ему приходилось трудиться и потеть, чтобы найти посредственное пропитание, и его сжатое и исхудавшее тело, малый рост выдавали вечное усилие его жизни. Но у него была лишь видимость слабости, и этот хрупкий внешний вид скрывал крепкий каркас, твёрдые мускулы и члены невероятной эластичности. Ни один народ древности, даже греки, не умел сделать тело столь послушным и столь выносливым инструментом. Усталость никогда не валила лигура; его органы и суставы, казалось, отвечали его воле с непосредственной точностью. По силе он, говорят, стоил крупных диких зверей. Живя в суровых горах, часто среди снегов, эти люди приобрели уверенность икры, гибкость ноги, которые делали их первыми скалолазами мира [93]. Их называли непобедимыми пешеходами и в ходьбе, и в беге; в упорстве и скорости у лигуров не было соперников в средиземноморских странах: привычка языка присоединяла к их имени тот же эпитет «быстрый», что к зайцам и сернам их гор [94].

На войне у них почти не было кавалерии [95]; но они были несравненными пехотинцами и очень хорошими стрелками. Ибо мускулы их рук имели ту же твёрдость и ту же ловкость, что и мускулы их ног. Поставьте лицом к лицу самого большого из галлов и хрупкого лигура: побеждён будет галл. И эта быстрота руки и кисти соединялась у них с чудесной точностью глазомера: они были самыми искусными из всех охотников в том роде стрельбы, который самый деликатный, который требует более всего обоих физических качеств, — в стрельбе из пращи. Пусть птицы пролетят перед группой лигурийских пращников: каждая праща выберет свою жертву, и ни один удар не промахнётся [96].

Женщины в этой среде отвечали мужчинам: у тех была сила зверей, у этих — мощь самцов [97]. Они трудились на земле с тем же упорством. Греки рассказывали, не без оцепенения, что они работали до точного часа родов; родив ребёнка, они его мыли, затем возобновляли на мгновение прерванную задачу, пахая или полотя своими привычными движениями [98].

Эти лигуры были, следовательно, народами самых тяжёлых трудов [99]. Одни целый день, вооружённые тяжёлыми топорами, кололи и валили мощные деревья горы. Другие, согнувшись к земле, дробили камни своих скал, чтобы создать себе немного пахотной земли [100]. Третьи преследовали диких зверей. И самые смелые наконец, взойдя на лодки более простые, чем плоты, сделанные, возможно, из выдолбленных стволов деревьев, отправлялись бороздить моря в одинаковом неведении опасности и помощи и просили у далёких вод рыбу, в которой их берега были скупы [101]. Самыми счастливыми были пастухи берега и горы [102]: но другие — лесорубы, охотники, каменотёсы, моряки — были вечно в борьбе против всего, что сопротивляется человеку в природе: скалы, леса, зверя и моря. —

Читая это описание лигурийских существ и жизни, внезапно переносишься в самые древние периоды легендарной истории человечества: кажется, видишь в этих людях последних обитателей пещер [103], сынов горы [104], с длинными и косматыми шевелюрами [105], продолжающих перед этрусскими морями нищету своего мучительного существования [106].

Но были ли эти лигуры Приморских Альп и генуэзских Апеннин верным изображением тех, кто некогда населял всю Галлию? Походил ли весь вид на самые недавние отпрыски, которые он произвёл на берегах Средиземноморья?

Трудно утверждать. Условия страны Генуи, возможно, истинная причина этой физической конституции и этого рода жизни. Нет в Италии земли и моря более скудных. Почва не давала в изобилии ни хлеба, ни винограда, фруктовые деревья там росли плохо, лемех плуга не поднимал там ни одной глыбы, не смешанной с камнями[107]. Не суровость ли почвы создала мало-помалу суровость тел? Не плохая ли земля вынудила их к плохой жизни[108]? Кто знает, не имел ли лигур в долинах Роны или Алье, где природа из жирной почвы производит самую лёгкую пищу, более радостный вид и более мягкое существование?

Кажется однако, что некоторые из физических привычек альпийца и генуэзца были наследием темперамента или общих обычаев лигурийского вида. Главный характер, отмеченный у лигуров Океана и далёких времён, — необычайная скорость их бега[109]: и это тот, который чаще всего отмечали у их итальянских собратьев классических времён. Те с берегов Ла-Манша и Северного моря произвели на торговцев Гадеса впечатление наглых моряков, ведущих свои лодки из сшитой кожи среди худших штормов, столь же гордых в своей беззаботности, как их младшие братья Внутреннего моря[110]. Лигуры, на севере как на юге, были, следовательно, по крайней мере *population* быстрых пешеходов и моряков смелых подвигов.

VI. — МОРАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАМЕНТ

Эти крепкие работники были мало симпатичны древним. Те обходились с лигурами Апеннин, Альп и Прованса, единственными, чей моральный облик они описали, с отмеченной немилостью. Можно подумать, что аристократы Рима и любезные философы Греции упрекали их в том, что они не более чем чернорабочие, вечные подёнщики материальной жизни.

— У них, говорили, интеллектуальная жизнь не существовала. Это были самые неграмотные из народов. Они не писали, не рассказывали ничего о себе; у них не было ни истории, ни легенды: они не поддерживали с исчезнувшими людьми того общения чувств, которое составляет прелесть старых рассказов. Мечта и мысль ограничивались у них надеждой и радостью ежедневного хлеба[111].

Интеллект, однако, у них не отсутствовал. Но он был лишь помощником их физических нужд. Лигур имел ум, плодovitый на изобретения и обманы[112], особенно когда речь шла о краже или о выпутывании из плохого положения. Говорили обычно: «обмануть, как лигура»[113]. Он был одним из самых хитрых персонажей древности, своего рода варварским Улиссом. Когда Вергилий в «Энеиде» хочет добавить к банальному рассказу о единоборствах живописный эпизод военной хитрости, именно вождю лигуров он приписывает её изобретение[114]. Их интеллектуальные усилия тратились на засады и ложь, эти засады повседневной жизни[115].

Древность изображала их как отвратительных грабителей, разбойников больших дорог, очень жестоких и очень смелых, воров скота, убийц чужеземцев и, возможно, людоедов[116]. Это они, говорили, напали на Геркулеса в равнине Кро[117]; я полагаю, что лестригоны, которые так весело пожрали спутников Улисса, были лигурами Сардинии[118]. Легенда говорила лишь об их злодеяниях на земле. Но, будучи закалёнными матросами, они не берегли своих морских дерзостей для законных прибылей и торговли, и их видели грабящими фактории и обшаривающими берега западного Средиземноморья вплоть до Гибралтарского пролива и окрестностей Гадеса[119]. В конце концов, разбой и пиратство были почти навязаны им бедностью их страны и необходимостью жить.

Однако они не показали себя неспособными к более человеческим качествам. При случае они становились столь же гостеприимными, как любые дикие племена: мы увидим изящный приём, который окажут фокейским грекам те из Марселя. Традиция сообщала, что дорога Дюранс и Мон-Женевра стала одной из самых безопасных на Западе, и она проходила через земли лигуров[120]. Правда, им было выгодно не отпугивать богатых путешественников, периодический источник доходов: но по крайней мере они не были теми глупыми дикарями, которые видят в чужеземце лишь жертву для своих богов.

Наконец, это были чудесные бойцы — крепкие, упорные, упрямые, чуждые паникам, не знающие, что можно бояться смерти. Кроме кантабров северной Испании, ни один народ не утомлял генералов Рима больше, чем итальянские лигуры, всегда побеждённые и всегда мятежные[121]. Пришлось вырвать тысячи из их отчих гор, чтобы внести немного послушания в апеннинские регионы[122]. Иногда в час покорности целое племя убивало себя — мужчины, женщины и дети — и исчезало, чтобы остаться свободным, в страшном взаимном закла-нии[123].

Это мужество и эта любовь к независимости соединялись с необычайным культом родной почвы. Среди всех наций древности я не нахожу ни одной, которая была бы менее подвижной. Ни одно вторжение, ни одна завоевательная экспедиция не исходили из их страны[124]. Война оставалась для них прежде всего охотой, немедленным захватом добычи, которую уносят; они сражались и убивали, чтобы украсть товары и скот, а не чтобы удержать города. Они пиратствуют, грабят, разбойничают: но этот способ воевать — способ людей, которые не хотят обосноваться вне своего дома; они не умеют вести большую войну. Из всех имён древности именно лигурийское имя менее всего распространилось. Этруски, иберы, италиоты, эллины, кельты, бельги, германцы — все были в несколько моментов своей жизни народами в движении, которые колонизируют или аннексируют: лигуры были, напротив, *population* вечно отесняемая, и против наций, которые их пересекали со всех сторон, они почти никогда не пытались предпринять наступательный возврат. Когда они ищут далёкие приключения, это исключительно на морских путях[125], и ремесло рыбака и моряка не несовместимо с упорной любовью к балкам и порогу хижины, с культом гробниц и очага: бегать по морю — значит избегать всякого иного жилища, кроме своего. Изгнанный врагом со своей земли, лигур возвращается туда, как только может[126]. Самое большое наказание, которое можно ему навязать, — заставить его эмигрировать навсегда[127]. Неодолимая сила соединяет его с гробницами предков и пенатами его жизни[128], и он кажется созданным по образу своих гор, твёрдый и устойчивый, как они. —

Повторяю, этот моральный портрет относился лишь к лигурам Апеннин и Альп. Мы увидим, что, без сомнения, во многом галльские [лигуры] на них походили. Но ни один древний писатель этого не сказал.

VII. — БОГИ [129]

О религии лигуров у нас нет никакой уверенности: я говорю и о тех из классической Италии, и о тех из доисторической Галлии. Ни они сами, ни греко-римляне не оставили никакого воспоминания, письменного или выгравированного, о верованиях и обрядах, которые они практиковали. Их отвращение ко всякой литературе обрекло их соседей на невежество, а их богов на молчание.

Я попытаюсь однако предположить здесь, какой была лигурийская религия; и, руководствуясь надписями римской эпохи[130], смутными аллюзиями, скользящими в текстах, наименее неопределёнными законами религиозных фактов, я хотел бы восстановить веру наших первых известных предков.

Она была, я думаю, тесно связана с жизнью почвы. Эти оседлые люди, привязанные к уголку, который они возделывали, живущие землёй и для неё, навсегда закрепили на самой этой земле богов, которые порождали их страхи и надежды. Они одушевляли Духами или Гениями формы природы, которые их окружали, — источники и озёра, реки и горы, и физическая карта лигурийских стран была изображением их пантеона[131].

Из всех вещей почвы источники, как мы видели, наиболее полезны для человеческой жизни; они были также теми, чьё существование, капризное и разнообразное, более всего напоминало эту жизнь. Их журчание казалось похожим на голоса; они тоже бежали и прыгали, и эти тысячи изменений их вида и их шумов, которые пробуждают столько поэтических образов в литературные времена, умножали у древних ощущения религиозного контакта[132]. Утоляя жажду человека, они ему улыбаются, веселят или удивляют его. Можно подумать, что они с

ним говорят, и он ищет их понять. У них нет для его детского воображения холодной суровости неподвижных лесов; они — из всех сил природы те, что были наиболее близки его душе[133]. Затем, сколько бесценных благодеяний он ждал от этих добрых и живых кормилиц! Именно источник освежает, успокаивает и очищает, облегчает лихорадку, возвращает силу и лечит болезнь: у него было столько же добродетелей, сколько форм. Если именно вокруг источников росли человеческие группы, они были для этих же групп постоянными местами их молитв: создательницами первых обществ и их первыми богами[134]. — К лигурийской эпохе восходит культ святых источников, я должен сказать — всех источников Галлии. Ибо святость была неотделима от них, и, холодные или горячие, они были одинаково духами или гениями, богами или богинями: и Дивона, источник Бордо [135], и источник Нима[136], как и Сена, Йонна и марсельская Юво, или более энергичные воды Нери, Люшона и Бурбона[137]. Растворялись ли они в лесах, были ли они благочестиво собраны людьми, жили ли они краткой и скромной жизнью сельского ручья, простирались ли в бездонных озёрах, безднах таинственных вод[138], или случайности почвы призывали их к славной роли великой реки — имя, которое носили источники Галлии, всегда было именем Гения, которому в них поклонялись[139]. — Давая им это имя, лигуры закрепили их священное существование.

Культ источника в пересечённых местностях соединялся с культом холма, из которого он выходил: их часто называли одним и тем же словом. Бибракта, Алезия — названия источников, которые перешли на гору, откуда выходила вода[140]. Люди смешивали в одном поклонении и под общим словом неподвижную и немую скалу и живой источник, который она, казалось, производила[141]. Возможно, в их мысли оба были одним и тем же Духом, душой места и источником его жизни.

Впрочем, у них был особый культ самых высоких вершин[142], которые показывали на горизонте равнин свою изолированную и господствующую голову. Эти вершины тоже жили собственной жизнью, с тёмными или светлыми аспектами своей вершины, предзнаменованием бури или хорошей погоды[143], с ясностями, которые их окружают на восходе солнца, с облаками, которые там собираются, молниями, которые их бороздят, громом, который там разражается, и особенно с ветрами, которые они развязывают со своих склонов[144] и которые казались самими дыханиями их божества. Народы Альп, Апеннин, Пиренеев все поклонялись Духам своих гор, то под именем репп-, «скала» или «голова»[145], то под именем vent-, «тот, кто ветрит»: не потому, что эти слова обозначали великого общего бога, парящего над горами, общего Духа высот; но каждая выступающая масса имела своего Гения, собственного и верховного господина страны, которая смотрела в его сторону.

После воды и скалы растительность была третьей сущностью богов, и она тоже, дерево или растение, имела свой священный язык: *arbor numen habet*[146]. — Дерево особенно было грозным Духом; ибо оно становится большим и сильным, оно поднимается к небесам, оно изолируется в очень чёткой индивидуальности, оно — лес само по себе, оно переживает человека, который видел, как оно росло[147]. Поэтому лигуры почитали самые мощные деревья своих стран, которые были в то же время наиболее полезны для их домашней жизни: буки и дубы, с великолепным обликом, с деревом, богатым теплом и *resistant* силой, с питательными буковыми орешками и желудями. Возможно, даже бук был предметом более интенсивного культа[148]: дерево властное, независимое и исключительное, оно душил другие виды, и его рост часто более внушительен, более прям и более свободен, чем у дуба[149]. — К этой далёкой эпохе восходит также особое поклонение некоторых трав с тайными добродетелями или странной жизнью: шалфей и вербена благоухающие, верные спутники человеческих жилищ, утешения страдающего человека[150]; и омела, самое необычайное из растений, которое одно не берёт свою жизнь и силы из почвы, чьё семя распространяют птицы, которое, кажется, приходит с неба и наклоняется к земле[151] и которое разворачивается, вечное в своей тёмной

зелени, в момент, когда деревья, которые его несут, высыхают и кажутся умирающими, — постоянный вызов всем привычкам окружающей природы[152].

Наконец, другие Духи одушевляли птиц неба и зверей земли. Самые грозные или самые сильные живые существа, враги человека или оплодотворители его стад, были для него столькими же богами: медведь, кабан и волк его лесов, бык с воинственными рогами и баран, отец его скота[153]. — Два животных особенно привлекали его наивное внимание: ворон и змея. Змея, обычно безвредная, привязывалась к углублению скалы, к кусту, к стволу или ветвям дерева: как человек, она имела своё жилище, и как он, она задерживалась на краю источников, и как дерево и источник, она, казалось, выходила из плодородной земли[154]. Ворон напминал среди существ воздуха то, чем казался источник на почве: он был болтлив, подвижен, капризен и упрям одновременно; его крики имели бесконечные модуляции; затем, когда он устраивался на холме, он возвращался туда без конца и жил там, почти вечный, старше поколений людей[155]. И человеческие семьи, которые снова видели змею у её источника, ворона на его вершине, и оба часто послушными и ручными, могли верить, что они — истинные Гении места, и они связывали их в своём благочестии с источником, деревьями и горой[156].

Таким образом, мириады Духов населяли Галлию. Не будем думать, что люди поклонялись в них живым силам природы. То, что происходило в их душе, было проще, яснее, конкретнее, чем смутное уважение к высшей силе. Они видели в этих существах, которые их окружали, — источник, дерево или ворон, — Гениев, обитающих на земле, каждый со своим собственным владением, господин и защитник места. Семьи делили с ними уголки почвы, которые они населяли. Мир был сделан из тысяч богов и тысяч людей, живущих бок о бок, и племена знали главным образом Духов, которые обитали рядом с ними [157]. Лигурийская Галлия, как Италия доброго царя Эвандра, была посвящена культу Фавнов и туземных Нимф.

Но из того, что такова была религия лигуров, не следует, что она была собственным делом народов, которым давали это имя: ничто не доказывает, что они не получили её от предыдущих **народов**. Эти верования были общим фоном их моральной жизни; но они могли прийти к ним по наследству от их анонимных предков.

Ибо эта религия почвы — из тех, которые не разрушаются и которые передаются из века в век, от побеждённых к победителям, вместе с владением и выгодами самой почвы. Взяв землю у лигуров, галлы приняли одновременно её урожаи, имена и богов; и после них ни римляне, ни варвары, ни христиане никогда не искоренят из своих владений, тридцать-сорок раз вековых, Гениев гор и источников, Духов-защитников мест. Поскольку почва кормит и источник лечит, в них должна быть сила, какова бы она ни была. Эти боги — самые полезные, самые близкие, самые лучшие из всех. Ибо человек нуждается в беседе со своими богами; он принимает, в крайнем случае, что они невидимы: но он хочет их очень близкими и привязанными к жилищу, как ворон к своей скале. Христианство победило массы, стало народной верой лишь тогда, когда города и деревни получили свои гробницы местных святых, целителей болезней и защитников урожаев: что позволило людям на некоторое время обойтись без древних Гениев источников, скал и деревьев [158]. Но те, впрочем, быстро вернулись, то на краю официальной религии, то под терпимым укрытием, которое она им предлагала: колдовство имело своих фей и дам, а христианство — своих Дев, те и другие делили между собой горы, леса и источники, сёстры-враги и несхожие наследницы общих матерей. И даже эта вражда была лишь перемежающейся. Жанна д'Арк никогда не слышала яснее голоса своих святых, чем в старых лесах, пропитанных языческими практиками: её детство прошло в странном и трогательном христианстве, ещё полностью заряженном тайнами древней сельской веры. Эти спутники Жанны, которые идут лечиться к Фонтану Крыжовника, этот Великий Бук, у подножия которого священник поёт Евангелие накануне Вознесения, эти благочестивые остановки крестов Христа у каждого источника [159] — всё это возвращает нашу мысль на двадцать веков назад, в полное время царей Сатурна и Фавна; и эта душа героини, которая в конце концов зависит от самых

тонких чувств современной нации, заимствовала свои первые мысли у самых далёких и самых наивных представлений о жизни природы. На этом неискоренимом створе религии почвы все новые боги привили свой культ. И ещё сегодня внезапная и неслыханная популярность некоторых святилищ на высотах и некоторых паломничеств к источникам показывает нам, с какой верностью человек сохраняет религиозный фонд лигуров.

Но уже в эти лигурийские времена, без сомнения, парила над нераспутываемой мешаниной Гениев мест религия некоторых общих сил, действующих на всех людей и внушающих им похожие мысли. Эти силы были, впрочем, как и местные Духи, исключительно теми, которых видели глазами, воспринимали чувствами. Земля, Солнце, Огонь, Луна [160], Вечерняя звезда [161] и нежная Утренняя звезда, возвещающая день [162] — высшие существа природы, которые повсюду производят свет, тепло и жизнь: вот единственные великие боги, которых знал лигурийский мир [163].

Из этих божеств с широким действием Земля была, без сомнения, самой почитаемой, либо в форме женского божества, изолированного и верховного [164], либо связанного с каким-нибудь спутником, варварским Сатурном, который был бы одновременно её сыном и её супругом, рождённым и рождающим её, как семена пшеницы смешиваются с почвой, которая их произвела [165]: царство Сатурна, первобытного бога Италии, охватывало, я думаю, весь лигурийский Запад. Земля, чей культ символизировало это царство, не была ли истинной создательницей, непрестанно обновляющей урожаи пшеницы и племена людей, одновременно матерью людей и матерью этих тысяч богов — источников, деревьев и скал, которые выходили из недр почвы? От неё всё приходило, в неё всё возвращалось, и сами светила. Тайна земного производства — возможно, первая, которая расширила религию за узкие пределы страха перед соседним Гением [166].

В этом также лигурийский фонд не исчез. В обрядах всех религий, которые будут сменять друг друга в Галлии, мы найдём следы культа Солнца и культа Земли. Когда мы празднуем рождение Христа в эти декабрьские дни, когда обновлённое солнце возобновляет свой бег, мы лишь разделяем радость наших первых предков, шумно празднующих обновление необходимого светила [167]. Сколько наивных молитв в полях и деревнях в майские дни и великий августовский праздник, которые сегодня адресованы Божественной Матери, вознесённой на небо, а некогда шли к Земле внизу, Матери Богов и Людей [168]!

VIII. — ОБРЯДЫ

Кельтская религия присвоит всех этих богов. Тем более она поглотит множество лигурийских обрядов в своём культе и своём гадании, ибо человек менее охотно оставляет свои церемонии, чем свои догмы, реже меняет рамку, чем цель своей религиозной жизни, и слова, направленные к одному богу, часто были созданы для другого бога, которого он низложил. Поэтому многие жесты или формулы, которые мы приписываем кельтам, — лишь вечное повторение привычек их предшественников. — Вот среди религиозных институтов галлов те, которые они либо заимствовали у предыдущих **народов**, либо разделяли с ними. Лигуры были свирепыми жертвоприносителями людей. Их боги были лакомы до человеческих жертв, и вероятно, что во время жертвоприношений верующие делили кровь и плоть со своими Духами в общении священной трапезы [169]. Ещё в 175 году до нашей эры апеннинские лигуры разрезали тела своих пленников, чтобы предложить их божественным силам [170]. Возможно, некогда те получили в жертву также заблудившихся в Альпах чужеземцев: но Геркулес, говорят, дал понять туземцам, что выгоднее торговать с греками или этрусками, чем подавать их богам на пирах [171].

Религия у них была ещё более цепкой, чем смертоносной. Она, без сомнения, регулировала мельчайшие детали их жизни. Она во всяком случае делала войну священным закланием [172]: сколь бы хитры и храбры они ни были, они ждали победы столько же от чар и злых чар, сколько от засад и мужества. Рассказывали, что в лигурийской армии всегда было engaged

лишь половина людей; другие играли музыку, чтобы привлечь благосклонность богов[173]. Эти народы были постоянной добычей для божества: и это были, я думаю, племена лигурийского происхождения — те бретонцы или ирландцы первых веков, которые, мужчины или женщины, пророчествовали под дыханием божественных духов[174].

Наконец, религия обрамляла землю так же, как она вдохновляла людей.

На островах, которые окаймляли берега Атлантики, на главных мысах, нависавших над Внешним морем, иностранные мореплаватели отметят в галльскую эпоху существование туземных святилищ с чудовищными обрядами, со странными служителями. Я убеждён, что все они предшествуют кельтскому вторжению. — Напротив устья Луары был остров Вакханок[175] (Ле-Крузик?): замужние женщины жили там в благочестивом братстве, но вдали от присутствия своих мужей, сосланных на другой берег на периодическое оставление. В святой земле каждый год они сами устраивали между восходом и закатом солнца крышу божественного здания; и если одна из них роняла свою ношу материалов, её спутницы разрывали её на части и обходили ограду с воем безумия, неся члены своей жертвы: не проходило годовщины такого рода без ритуального убийства, гарантии прочности и святости для обновлённого здания[176]. — Этим смертоносным и одиноким обрядам противостояло гостеприимство пророчиц острова Сена (Сен): те всегда были готовы принять тех, кто специально отправлялся из своей страны, чтобы прибегнуть к их божественным услугам. Они полностью принадлежали тайнам культа природы, аналогичного культу Вакха: они умели поднимать бури, превращаться в зверей, лечить все болезни, предсказывать будущее — присяжные колдуньи западного моря и владычицы его ветров[177]. — В другом месте, на острове, соседнем с островом Бретань, праздновались обряды, напоминавшие обряды Цереры и Прозерпины[178], то есть вдохновлённые материнством Земли. — Дальше от Галлии другие острова и другие мысы Западной Европы были увенчаны древнейшими варварами святилищами этого рода. Вдоль берегов Испании островки и мысы были посвящены туземным Сатурнам или Венерам, божествам плодородных сил; на Балтике Рюген показывал свой лес богини Нертус, германской Земли[179]; Италия установила Цирцею-чародейку близ мощного мыса, а сивиллу Кум — в пещере грозной цитадели: и та и другая оказывали мореплавателям Средиземноморья те же гадательные услуги, что Девять Дев Сены — мореплавателям Атлантики; Йерские острова имели свои алтари и свои обряды[180]; Бретань имела близ себя Мону (Англси), остров священных рощ, осквернённых кровью стольких человеческих жертв[181]; и ещё дальше на север, на оконечности Шотландии, волны наполовину терялись в тумане, населённые несколькими святыми людьми, заповедным владением скованного Сатурна[182]. Священная привилегия повсюду окружала острова и мысы: народы моря находили там религию, в которой нуждались.

Эта линия островков и священных мысов, окаймлявших Европу, оставалась вблизи христианской эпохи следом бурного культа, воздаваемого лигурами Земле на этих крайних пределах берега, где почва в свою очередь, кажется, рождается из Моря. Кельтские друиды позже рассказали Юлию Цезарю, что Великобритания сохраняла самые чистые традиции их религиозной науки и что именно туда они ходили её изучать[183]: возможно, наряду с галльскими уроками, которые им давали их бретонские братья, они искали также автохтонные тайны лигурийских святилищ и посещали далёкие океанские братства, вечные семьи служителей Земли-Матери[184], весталок или Арвальских братьев Севера, которые хранили неподвижные обряды древнейшего универсального культа человечества[185].

IX. — КУРГАНЫ И ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ [186]

Лигурийская земля беспрестанно заряжалась новыми богами. К Духам, одушевлявшим природу, добавлялись те, что оставались от людей: **народы** того времени верили в продолжение жизни за пределами того, что мы называем смертью.

Возможно, что в более далёком веке право на бессмертие не давалось всем человеческим существам и считалось привилегией высших семей, вождей или богатых[187]. Возможно,

именно различие такого рода объясняет разницу в обращении, которое применяли к умершим, сжигая одних и погребая других: те, предназначенные стать пеплом и пылью, были теми, кто должен был действительно погибнуть; другие, чьи тела благочестиво сохранялись, должны были продолжать жить[188].

Но в приближении исторических времён я сомневаюсь, что это различие людей перед смертью принималось как догма. В конце концов, то, что главным образом порождает веру в бессмертие, — это страх или сожаление о своих близких и надежда им понравиться или их снова увидеть; и, поскольку такие чувства не являются привилегией никакой души, выживание не могло остаться монополией никакого класса: каждый, по своим мыслям, давал новое существование своим близким.

Было в шестом или седьмом веке несколько способов обращения с останками умерших: все, казалось, reveal желание человека отправить своих мёртвых к верховным богам — Солнцу, Земле или Огню.

Самый разрушительный состоял в том, чтобы отдавать тела зверям или хищным птицам: обычай, очевидно, включающий глубокое презрение к трупу, но не исключающий убеждения в вечном Духе, могущем одушевить в другом месте другое тело. Народы, практиковавшие этот обряд, думали, что души умерших, перенесённые стервятниками или высоко летающими птицами, уходили присоединиться через небо к Солнцу и звёздам-богам, где им предстояло жить[189]. Никакое формальное доказательство не позволяет утверждать, что лигуры всегда сохраняли эту веру и эту практику: но разные признаки позволяют предположить, что они не были им чужды[190]. — Чаше тело оставалось навсегда прикреплённым к земле, где оно жило, было ли оно сожжено или погребено: и эти два обряда, столь противоположные по видимости, погребение и кремация, одинаково и так же хорошо, как предыдущий, приспособлялись к вере в бессмертие. Возможно, каждый из них означал особый способ достижения новой жизни: пламя вело одних, другие достигали её сами, со своими прежними телами. Но пепел или трупы, отданные Огню или Земле, мёртвые получали от выживших одинаковые заботы: им давали похожие жилища, они казались предназначенными для существования, похожего на только что закончившееся[191].

Мёртвые имели те же нужды и те же вкусы, что живые: следили за тем, чтобы они могли перенять те же привычки. Поэтому им строили как гробницы каменные жилища, напоминавшие те гrotты или пещеры, в которых жило столько людей. Иногда для них открывали склепы в склоне холмов[192]; иногда создавали с нуля погребальные камеры на поверхности земли. — Эти камеры, которые мы сегодня называем дольменами, были очень разнообразны по виду и форме: одни состояли просто из длинных крытых галерей, скорее коридоров, чем залов; другие, более разумно понятые, были обширными хорошо закрытыми пространствами, часто предваряемыми большим вестибюлем доступа[193]. Иногда склеп был, как дом дверью, закрыт плитой, обрамлённой порогом, стойками и перекладиной[194]; и иногда ещё одна из широких плит, образующих камеру умершего, была пробита отверстием, как будто чтобы позволить его Духу приходить и уходить по своему желанию[195]. — Это жилище не было видно снаружи: дело случая, времени и непогоды, что дольмены показывают сегодня обнажёнными свои мощные скелеты опор и столов. Некогда они были полностью покрыты и обёрнуты огромной грудой земли и сухих камней: они исчезали под искусственным холмом, как гrotты скрываются в горах. Можно почти сказать об этих гробницах, что они были наивно стилизованными пещерами.

Разумеется, многие дольмены предшествуют седьмому веку: было, без сомнения, тысяча и гораздо более лет, как знали употребление этого типа гробницы: но это употребление не исчезло, по крайней мере, как я думаю, и принципы, которые его распространили, всё ещё царствовали над душами. Однако уже века лигуры не обитали исключительно в пещерах. Но некоторые ещё жили там[196], и их предки имели там своё любимое жилище. Когда люди изменили способ обитания, они не тронули облик своих гробниц: он остался пережитком при-

митивного типа человеческих домов. Привычки умерших меняются медленнее, чем привычки живых: можно подумать, что смерть преобразует существ по образу человека прошлого.

В своей хорошо укрытой камере мёртвый был простёрт с предметами, которые давали ему его смысл как человека, то есть как воина: у него были свои стрелы, свои ожерелья, свой кинжал, свой топор из бронзы или камня[197]. Каменный топор особенно был для него необходимым спутником: он был веками любимым оружием живых, он оставался ещё дольше атрибутом мёртвых. Часто, чтобы сделать их жилище более надёжным и более неприкосновенным, рядом с ними высекали на потолке или стенах камеры изображение топора, и никакая злая сила не приходила тогда тревожить покой того, кого защищало священное оружие людей[198]. Своего рода религия топора **сохранялась** на Западе через погребальные обычаи. Мёртвым обеспечивали пищу в изобилии, размещённую в сосудах, которые были у них под рукой. Редко они были одни: и некоторые дольменные погребения — настоящие оссуарии, где погребены несколько поколений, как если бы семья или племя встречались в смерти[199].

Конечно, эти народы не имели очень точного представления о том, как мёртвые живут и едят[200]. И кто может похвастаться, что имеет его об этой вещи, самой неопределённой из всех, что предлагаются нашим мыслям? Но поскольку Гении деревьев могли питаться, Гении умерших, без сомнения, умели брать плоды, которые им предназначались.

Оставались ли они вечно под каменным сводом, который построили над их телом? Не было ли у них какого-нибудь далёкого царства, где они собирались, чтобы жить вместе? Пища, которую им оставляли, должна была просто служить дорожными припасами, или нужно было её обновлять, чтобы обеспечить умершим периодическое пропитание? Вероятно, наши предки, как и мы сами, давали на эти вопросы очень разные, противоречивые и одновременные ответы. Говоря, что их отцы отправлялись в долгое путешествие, они могли верить, что те обитают в своих гробницах: стали бы они делать им такое компактное жилище, если бы оно должно было быть лишь станцией на несколько мгновений?

Из этих забот о мёртвых не будем заключать, что их всегда уподобляли богам. Можно было служить предкам и кормить их, не поклоняясь им. Содержание умерших не обязательно является обрядом культа. Оно должно было мало-помалу породить этот культ; возможно, что изначально оно было от него отлично[201].

Я всегда думал, что лигуры поклонялись лишь Духам некоторых высших людей — царей, колдунов или жрецов. Божественность была *reserved* для элиты. Лишь гробницы величайших должны были быть местами молитв и жертвоприношений[202]. Особенно в больших дольменах, таких как Манне-Люд в Локмариакере, были найдены остатки очагов или кости животных, которые указывают на жертвы. У лигуров был по-своему культ их героев, полулегендарных основателей их племён: позже грекам показывали на острове Лерин (Сент-Маргерит) гробницу вождя, реального или мифического, чьё имя получил остров[203]. Первые святилища, сделанные руками человека, были холмами земли и камня, которые покрывали неизменные места упокоения самых славных предков. Эти холмы на армориканских мысах, как и на провансальских островах, господствовали над окружающей страной, как вершина горы господствует над равниной. Ещё сегодня погребальные курганы Гавр'инис, Сен-Мишель-де-Карнак[204], Тюмиак, Манне-эр-Хроэк в Локмариакере — настоящие холмы, командующие обширными пространствами земли и моря, замыкающие горизонт венецских пустошей или заливов Морбиана. Людям, которые их воздвигли, Духи мёртвых, чью нетленную камеру они покрывали, не казались, без сомнения, очень отличными от Духов источников или гор, скрытых тоже под землёй; и эти мёртвые могли в свою очередь стать Гениями-хранителями страны, защитниками полей, которые простирались у их подножия, лодок, которые плыли в их виду.

X. — ВСТАВЛЕННЫЕ КАМНИ

Современная наука, следуя по стопам Евгемера, свела к роли гробниц те дольмены, в которых столько поколений видели святилища или алтари богов[205].

Но она ещё очень нерешительна в отношении другого класса больших камней того времени — этих длинных вставленных столбов, которые возвышаются то совершенно изолированно, менгиры, то сближенные в числе, чтобы образовать либо обширные круги, кромлехи, либо длинные прямые ряды, аллеи.

О менгирах предполагали почти всё возможное, но почти всем гипотезам можно возразить. — Они иногда, говорят, на границе двух городов или двух племён, лигурийских или галльских: но уверены ли, что их первоначальное назначение было служить межевым знаком и что они не были выбраны как ориентиры гораздо позже их возведения? — Вставленные камни Галлии и всех стран мира часто были и ещё являются предметом поклонения как боги, святые, гении или фетиши[206]: но как богов их вставили? — После победы, говорит Ветхий Завет, Самуил поставил близ Мицпы стоячий камень как памятник[207]: но это происхождение менгира Мицпы не было бы предположением редактора этого рассказа? и действительно, было бы столько битв в пустошах Арморика, где менгиры изобилуют? — У некоторых варварских народов воздвигают каменную колонну в память умерших, чей труп не могли или не хотели сохранить или иметь[208]: были бы менгиры Галлии кенотафами? — Или, скорее, не были ли они то одним, то другим из этих вещей, но всегда и во всяком случае свидетелем или напоминанием о существовании или событии, камнем памяти?

Из всех условий, предложенных для менгира, именно кенотаф, или, точнее, погребальный столб, я более всего склонен принять, по крайней мере в настоящий момент; к памяти или культу мёртвых я привязал бы его чаще всего[209]. — Более одного погребального холма предвзялся или увенчивался менгирами; тот из Манне-Люд содержал в своих глубинах вставленные камни, некоторые из которых, настоящие столбы жертвоприношений, несли ещё скелеты голов принесённых в жертву лошадей[210]. — Одним из первых набросков скульптуры на почве Галлии была установка менгиров в форме мужчины или женщины[211]: подумали бы об этом превращении столба в изображение, если бы он часто не был изначально знаком тела, каменным двойником исчезнувшего существа[212]? — Рядом с погребёнными или сожжёнными мёртвыми были те, кого оставляли на воздухе или отдавали хищным зверям: не отмечали бы менгиры иногда следы таким образом исчезнувших умерших, места, где тела были выставлены?

Самые известные и самые многочисленные из аллей менгиров — карнакские: три квинконса столбов — Менек, Кермарио, Керлескан — растягивают до потери зрения свои прямолинейные ряды и аллеи почти регулярной ширины. И это странное, монотонное, мрачное и мощное зрелище — эта неподвижная и беловатая армия сотен неравных камней[213], отмечающая на протяжении лье унылую, бесплодную почву с чахлыми травами, крепкие массы гранита с разнообразными формами, обширные каменные мумии, искривлённые, расчленённые и покрытые патиной времени, солнца и дождей. И здесь ещё из бесконечных гипотез, которые вызвал Карнак, я предпочитаю ту, которая делает его местом памяти о **изумительном** поле мёртвых первобытных времён, откуда мёртвые, сожжённые или обнажённые, ушли в своё новое жилище[214]

XI. — АРМОРИКА, ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ[215]

Это, я предполагаю ещё, религиозные верования лигурийской Галлии сделали из берегов Арморика предпочтительное убежище мёртвых того времени. Не случайность могла умножить в этих краях дольмены, менгиры и аллеи. Их слишком много в окрестностях Океана, чтобы мощный мотив не связал их строительство с соседством моря. Из всех регионов Франции именно Арморика наиболее в контакте с ним, и она почти единственная, обладающая обширными аллеями; у неё самые высокие погребальные курганы, самые высокие менгиры, дольмены с самыми широкими столами: в самой Арморике, чем ближе к побережью, тем многочисленнее эти памятники и тем они больше [216]. Самые значительные нагромождены на нескольких лье берега, и именно в этой земле Морбиана, которую море глубоко проникает

быстрыми течениями, разрывает повсюду на мысы, заливы и эстуарии, как если бы хотело сжать её тысячью рук и вырвать у неё со всех сторон жертвы или приношения. Полуостров Киберон изобилует мегалитами; малейшие острова открытого моря и венецкого залива[217] имеют свои, иногда так близко к воде, что она их затопляет в прилив[218]; затем между Кибероном и заливом, и всегда в виду волн или пляжей — Плуарнель и его дольмены, Карнак, его аллеи и его всегда священный курган Мон-Сен-Мишель[219], и в зубчатом полуострове Локмариакер, лежащие бок о бок, самые мощные свидетели этих времён, двигавших камни: дольмен Манне-Люд (Гора Пепла) с его колоссальным столом[220]; Великий Менгир Мен-эр-Хроэк (Камень Феи) с его разбитыми фрагментами, но которые ещё attest его prodigious высоту в 70 футов[221], его неслыханный вес в 200 000 килограммов; Стол Купцов, самая таинственная погребальная камера Арморики; Манне-Рютюаль, Плоские Камни, огромные склепы из плит со странными знаками[222]; и наконец, погребальный холм Манне-эр-Хроэк[223], откуда глаз охватывает это великое венецкое море и этот залив Морбиана, которые сегодня обрамляют больше гробниц, чем жилищ, больше мёртвых, чем живых.

Итак, именно повелительное соседство Океана привлекло к мысам и островам этот мир усопших и особенно эту аристократию умерших, которая увенчала их своими гробницами. Древние народы Европы — кельты, германцы и другие — верили почти все и почти всегда, что бессмертные мёртвые уходят за Океан, который заканчивает землю, к другим берегам, на далёкие и блаженные острова. Лигуры, которые их предшествовали, имели, не сомневаемся, те же верования [224]: не являются ли они частью того морального наследия, которое человечество получило от своих первых предков? Но чтобы избавить духов умерших от слишком долгого путешествия по земле, кто знает, не хоронили ли современники дольменов своих близких на самих берегах этого моря, которое нужно было пересечь? Народы этих далёких веков не были неспособны перевозить своих самых прославленных мёртвых далеко от центра страны, к таинственному порогу, откуда нужно было отправиться в новую родину [225]. Это общество моря было, возможно, для этих людей, как общество гробницы святого для людей Средневековья, радостью, которую они надеялись обрести в окрестностях своей посмертной жизни [226].

Это предлагается лишь как гипотеза. Но эти берега Арморики — из всех лигурийских земель те, где древние накопили больше всего тайн. Я вижу лишь один античный регион, более пропитанный священными вещами: морская Кампания с её пещерой Сивиллы, её Флегрейскими полями, её озёрами, скрывающими Ад, её источниками, откуда спускаются к нему, с её оракулами, обрядами, чарами: и от Улисса до Вергилия [227] она была для всех средиземноморцев порогом грозного владения Мёртвых и дверью святынь Земли. Арморика играла у варваров Запада подобную роль: у неё были свои островные религии, посвящённые также богине почвы; с её берегов отправлялись умершие; и гробницы там кишат. Как **устоять перед** искушением сблизить все эти факты? и представить зрелище, которое некогда предлагали эти священные берега, где на оконечности живого мира культ Земли сопровождался исходом Мёртвых?

XII. — ОБ ИСКУССТВЕ У ЛИГУРОВ [228]

Дольмены, менгиры, аллеи, все большие поднятые и вставленные камни — вот, если не произойдёт неожиданного открытия, самые важные следы, которые лигурийский мир оставил на почве Галлии; вот, вместе с профилем и рисунками его бронз, его керамики, его погребальных топоров из полированного камня[229], то, что позволяет нам судить о его художественных вкусах и о природе его воображения.

За сотни, возможно, тысячи лет до того, во времена северных оленей и мамонтов, Галлия обладала народами, одарёнными чудесными художественными дарами. Они вели, возможно, более дикое существование, чем люди, о которых мы здесь говорим; они жили только в лесах и пещерах, охота и рыболовство были их главными ресурсами, и их оружие было сделано из расколотого или обтёсанного камня. Но какие удивительные художники эти лесные бродяги

[230]! Они гравировали или рисовали на костях животных или на стенах своих пещер любимых зверей своих стад, своих охот или своего поклонения [231] — северных оленей, лошадей, бизонов, антилоп, мамонтов: и эти рисунки, снятые быстрой и твёрдой линией, имеют силу, точность, юношескую жизнь, которые иногда напоминают первые наброски греческого искусства [232]. Что стало с этими народами духа и вкуса, с этими существами будущего, которые занимали Галлию в самые далёкие времена человеческого интеллекта? Почти вдруг этот род людей или этот род таланта исчезли в неизвестно каком катаклизме — физическом, моральном или политическом [233]. И народы, пришедшие затем, те, чьими представителями в конце доисторических времён были лигуры седьмого века, были далеки от того, чтобы обладать тонкостью наблюдения, интеллектуальной гибкостью своих предшественников. Более одарённые, возможно, для самых грубых ручных работ, новые общества потеряли привычку уметь выражать свою мысль [234]. Было, по крайней мере в этом отношении, **грозное** отступление цивилизации между эпохой пещер и эпохой дольменов, между веками северного оленя и веками лигуров, своего рода долгое Средневековье, как то, что тяготело над Францией между римскими временами и готическим возрождением [235]. Лигуры седьмого века, насколько можно предположить, медленно поднимались из этой долгой депрессии, последовавшей за веком обтёсанного камня [236].

Изобилие больших камней, дольменов и менгиров, кажется, обнаруживает у этих лигуров и у их предков инстинкт, или потребность, или традицию колоссального. Погребальные курганы региона, окружающего Локмариакер, имеют от 10 до 15 метров высоты, 60–110 метров длины [237]; Великий Менгир, упавший, из того же города, был **грозным** столбом 23 метра высотой, 4 метра толщиной [238], и он мог казаться древним Колонной Неба [239]; стол одного дольмена в Мен-и-Луаре имеет, говорят, 22 метра длины [240]. Возможно, огромные камни, которые образовывали стены старейших городов Галлии — Сент-Одиль в Вогезах [241], Наж и Мюрвьель в Лангедоке [242], — также дело рук лигуров последних мегалитов. Они любили, следовательно, своего рода массивное, грандиозное и грубое искусство, варварский эквивалент, в западном мире, колоссальных построек восточных империй.

Могли бы лигуры прийти к созданию зданий, аналогичных этим последним, если бы остались хозяевами Галлии, если бы мало-помалу цивилизовались сами под действием внутренней работы или под влиянием иностранных путешественников? Дали бы они нам тогда, превращая в симметричные линии суровые контуры своих столбов и курганов, здания, сравнимые с пирамидами и обелисками Египта и величественными алтарями Азии? Я не знаю: но даже не пытаюсь ответить на этот вопрос, история должна его поставить [243].

Однако менгиры и дольмены — лишь жалкий набросок этой престижной архитектуры Востока. Стиль погребальных камер, гротов и мегалитов не представляет никакой комбинации, которая указывала бы на глубокую рефлексию, изобретательное усилие; те, что устроены по методическому плану, с коридорами и вестибюлями, всё же остаются очень простыми [244]. Блоки едва обтёсаны (если вообще обтёсаны) сильным и неумелым ударом каменных топоров и молотков; употребление полированного камня не затронуло погребальную архитектуру: она ещё, если можно так сказать, в традиции расколотого камня. Этим плитам и столбам не хватает регулярности и разнообразия контуров, которые может дать лишь употребление металлического инструмента, благоразумно направляемого. Не то чтобы лигуры 600 года не знали употребления меди, бронзы, даже железа. Но металлы были реже камня; их обнародовали в недавнюю дату [245], и, как всегда, мёртвые были последними, кто их принял [246]. Кажется, религиозное предписание долго запрещало касаться надгробного камня металлом, неизвестным предкам [247]. Традиция противилась этим попыткам технического прогресса, из которых выходят новые формы искусства.

Без сомнения, подобный запрет помешал рождению или воскрешению пластических искусств. В отличие от охотников, современников северного оленя, народы седьмого века,

кажется, не имели желания изображать зверей и людей. Фигуры живых существ чрезвычайно редки на мегалитических памятниках: менее одного процента из них содержат их, и ничто не мешает верить, что это самые недавние[248]. На стенах вестибюлей, в некоторых погребальных гротах долины Марны, смутно указаны бесформенные бюсты женщин[249]; некоторые менгиры южных Севенн были оформлены в человеческие тела неопределёнными и случайными чертами[250]. И это всё. Впрочем, нет ничего более грубого, более жалкого, более лишённого заботы, пропорции и точности, чем эти глупые попытки скульптуры, которые отверг бы даже ребёнок[251]. — Кроме того, возможно, не было во всём древнем мире *population* более невосприимчивой, чем лигуры, к изображению, к произведению искусства, к самому письму. Во времена Римской империи племена Апеннин оставили лишь весьма ограниченное число скульптур, надписей, говорящих гробниц; произведения скульптуры у них реже, чем где-либо в Италии: лунийские мраморы отправлялись из Лигурии и ничего там не производили.

Таким же образом семью веками ранее строители дольменов и погребальных гротов закрепили на камнях, поставленных ими, лишь монотонные и неумелые выражения своих глубоких мыслей. Многочисленные рисунки[252] украшают, правда, стены коридоров или камер больших дольменов Морбиана[253]: топоры с рукоятью или без, точки, расположенные кругом, изолированные круги, следы босых ног[254], спирали или параллельные кривые[255], которые напоминают либо ряды ожерелий[256], либо морщины кончиков пальцев и впадин ладоней[257]. В других местах на менгирах[258] или других дольменах появляются чашечки, мисочки или углубления, сделанные рукой человека и странно сгруппированные[259]. Но это были, без сомнения, не буквы алфавита и не знаки звуков или слов, а магические метки, переведённые из вида оружия и членов человека, эмблемы надежды, страха или защиты, выгравированные то чтобы помочь или остановить мёртвого, удержать его в покое или безопасности, то чтобы действовать на дух богов и указать им дар или желание [260]. — Затем эти символы были скомбинированы или переплетены столь изменчивыми способами [261], черты в них столь нерегулярны и столь ощупью, что создаётся впечатление умов, бессильных направлять руку и упорядочивать работу. Самые мощные из этих картин знаков, те из Гавр'инис, были лишь набросками и в рисунке, и в композиции. То, что люди мегалитов выгравировали наиболее регулярного и наиболее пропорционального, — это геометрические фигуры, которые украшают керамику [262] и бронзы: ещё, единообразно прямолинейные, они не предлагают ничего другого или лучшего, чем то, что находят у наименее неразумных диких народов [263].

По поводу этих старых **народов** венетской Арморики было произнесено слово «раса писателей» [264]. Изобилие знаков на дольменах Морбиана не оправдывает это выражение [265]. Я скорее склонен сказать противоположное обо всех этих людях, чьи руки были столь ловки, когда речь шла об охоте, войне и строительстве, и столь дрожащи, когда они служили впечатлениям души: у них нет никаких чётких следов ни письма, ни изображения. Слово Катона об итальянских лигурах — *illitterati* — приходит на ум, когда говорят о тех из дольменов.

ХIII. — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Но отсутствие художественных вкусов не исключает технической сноровки. Лигуры обретали уверенность глазомера, точность жеста, упорство физического усилия, когда речь шла об обработке материала. Они не были ниже как работники и промышленники самых трудолюбивых человеческих **народов**.

На первый взгляд обитатели Галлии в века, предшествовавшие 800 году, кажутся прежде всего работниками камня. Именно камень, действительно, был материалом главных производений, которые сохранились от того времени: наконечники стрел или дротиков из обтёсанного кремня, незапамятные типы оружия, от которых человек не умел отказаться; мегалитические постройки из блоков или плит плохо обтёсанного камня; и наконец, топоры из полированного камня. — Эти последние продукты были самым совершенным, что поставляла промышлен-

ность, что указывало более всего на рефлексию и терпение. Чтобы прийти к производству этих мощных инструментов, способных без зазубрин надрезать крепкие стволы деревьев[266], масс с телом гладким, как лист стекла, с лезвием, заострённым, как у металлического клинка; нужно было тщательно искать камни одновременно самые тонкие и самые твёрдые, самые вязкие и самые компактные, пригодные одновременно для разрезания и скольжения — кремь, жадеиты[267], фибролиты, диоритовые породы; затем фрагменты, предназначенные стать оружием, после наброска и ретуши, нужно было подвергнуть бесконечной полировке на блоках песчаника или кварца, ещё более однородных и менее режущих, покрытых мокрым песком[268]. Некоторые из этих топоров, предназначенные, правда, для погребальной мебели, имеют более фута длины и являются шедеврами камнерезной техники[269]: ремесленники того времени, следовательно, имели точные и ясные понятия о степенях взаимного сопротивления различных туземных пород[270]. — Точно так же самые большие из дольменов и менгиров **обнаруживают** чудеса механики. Если большинство этих блоков были взяты с почвы страны, всё же нужно было их отделить, тащить, поднимать, воздвигать, устанавливать и закреплять; некоторые весили двести пятьдесят тысяч килограммов, другие, возможно, больше, и некоторые камни, и из самых тяжёлых, были перевезены на семь или восемь лье [271]. Что приведение в движение или равновесие, что перевозка и оснастка этих **грозных** весов предполагают бригады сотен людей, обученных и дисциплинированных, это само собой разумеется: но человеческих рук не хватило, понадобились рычаги, катки, ворота, канаты, чьё действие, сила натяжения и прочность были тщательно рассчитаны. — Как полировщики и как каменотёсы лигуры того времени, вероятно, достигли высшего мастерства: правда, они получили в наследство опыт, приобретённый за тысячелетия бесчисленными работниками каменных веков.

Но плохо судить эпоху, определяя её только по предметам, которые случай нам от неё сохранил. Рядом с лигурийскими каменотёсами подумаем о плотниках, тоже наследниках долгой привычки к работе в лесах. Эти тяжёлые топоры были предназначены главным образом для валки и обтёсывания брёвен и огромных частей. Жилища живых, срубленные и хорошо пригнанные, были столь же многочисленны, как каменные камеры мёртвых. Из стволов или ветвей деревьев делали машины, пригодные для установки дольменов. Эти люди изучали дерево с тем же успехом, что и камень; они оценивали сопротивление балки, силу и долговечность её материала. Это они построили обширные сваи городов или озёрных стоянок[272] Швейцарии[273] и Савойи[274]: они умели резать, заострять, вбивать и утрамбовывать тысячи дубовых свай[275] с технической сноровкой, которая не была намного превзойдена[276].

Ремёсла, требовавшие более деликатного умения, — металлургия и керамика — лишь едва выходили из первого периода своей жизни.

Лучше всего справлялись литейщики бронзы[277]. Обитатели Галлии сначала узнали употребление изолированной меди[278]; но около 600 года, возможно, менее веков, чем думают, они знали также искусство изготовления бронзы путём смешивания этого металла с оловом и извлечения из этого сплава инструментов более режущих и более прочных, чем лучшие из каменных или медных топоров: они постепенно отдавали себе отчёт в наиболее полезных пропорциях между двумя элементами, мало-помалу исправляя свои расчёты и свои процессы[279]. Рудники того и другого металла не отсутствовали в Галлии; они изобиловали в землях, соседних с Испанией и Бретанью, и иностранные мореплаватели, без сомнения, давно искали корнуоллское олово[280]. Возможно, туземцы нашей страны узнали от людей Гадеса или откуда-то ещё[281] секрет ценности металлов; возможно, они нашли его сами[282]. Но, однажды осведомлённые, они обрабатывали их по своему усмотрению.

Правда, они не сразу поняли, какую выгоду можно извлечь из расплавленного металла. Они ещё не использовали его в домашней или религиозной жизни как посуду для жертвоприношений, стола или кухни; возможно, даже лишь недавно извлекали из него предметы украшения — браслеты и ожерелья[283]. Долго они ограничивались воспроизведением в бронзе,

почти не меняя типа, каменных инструментов и оружия — наконечников стрел и копий, кинжалов и ножей[284] и прежде всего топоров.

Каменный топор и медный топор — вот что прежде всего характеризует воина того времени: мёртвый всегда предпочитает первый, живой всё более вооружается вторым; век меча, я полагаю, едва начинается. Ещё не произошла в Галлии та революция, которую повсюду принесла металлургия, когда она сделала всеобщей отливку боевого меча[285]. За некоторыми исключениями[286], лигуры не знали употребления этого оружия, самого совершенного и, так сказать, самого умного из оружия ближнего боя, того, которое наиболее верно принадлежит человеку, который им владеет, которое лучше всего следует за движениями его руки и его мысли, которое более всего сохраняет **силу** его мускулов.

Таким же образом, если они знали золото, они умели делать из него лишь грубые украшения[287]: их интересовал лишь блеск металла. Железо им *certainly* не было чуждо: но они извлекли из него лишь предметы украшения[288].

Текстильная промышленность была более развита. В озёрных стоянках были обнаружены гребни для пряжи, фрагменты канатов, сетей и тканей. Но лён был ещё главным материалом для прядения и ткачества[289]: кажется, шерсть ещё не начала своё царство, я имею в виду в её текстильной форме: ибо употребление мехов или покрытых шерстью шкур было, возможно, столь же древним, как само человечество[290].

Самое тонкое из промышленных искусств — керамика — мало привлекало этих двигателей камней и деревьев[291]. Они оставили лишь сосуды и кубки очень простой формы, хрупкие, из грубого теста, изготовленные чаще всего вручную, реже на гончарном круге[292], или ещё сделанные из формованных и сваренных вместе пластин и довольно плохо обожжённые на солнце или на открытом огне. Отсутствие долго всеобщее ножек и ручек показывает, как мало в этом отношении рефлексия применялась к поиску самых простых усовершенствований[293].

XIV. — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Предметы, оставленные лигурами Галлии, дают нам, если я не ошибаюсь, образ оседлой и трудовой жизни. Люди, которые на своей земле отводили такое большое место своим мёртвым, должны были быть глубоко привязаны к этой почве, где **сохранялась** память об исчезнувших. Нестабильное общество, жадное до походов или любопытное к приключениям, не занимает сотни людей для управления большими камнями. Я не могу поверить, что у него был вкус к завоеваниям и большим сборам оружия. Самыми беспокойными были, без сомнения, моряки и рыбаки Арморики. Для других племён война должна была быть прежде всего периодическим разбоем, способом урожая. Конечно, топоры, стрелы, кинжалы и копья составляют большую часть сохранившейся мебели, но это были столько же орудия охоты, сколько инструменты войны. Меч мог быть ещё лишь предметом роскоши; щит, панцирь и боевая колесница не появились. Эти лигуры Галлии не обладали оружием, тогда **существенным** для воинственных наций Европы. — Они, следовательно, существенно не отличались в своём понимании жизни от альпийских или апеннинских лигуров классической эпохи. Они были, как эти последние, упорными земледельцами[294], сельскими работниками первого порядка. Только их усилия быстрее вознаграждались в этих жирных землях, столь отличных от генуэзских гор. Если они разводили скот, как делали их предки, если у них были стада свиней или овец, пастушеские привычки были отныне менее сильны в Галлии, чем земледельческие заботы. Возделывали лён, ячмень[295], возможно, рожь и прежде всего пшеницу, у которой уже знали два больших класса — компактную пшеницу и весеннюю пшеницу. Большинство туземных фруктовых деревьев использовались: собирали яблоки, орехи, терновник, водяные каштаны, землянику и кизил, не говоря о буковых орешках, желудях и кедровых орехах. Плод и зерно готовили тщательно: люди озёрных стоянок, например, умели делать муку, хлеб и, вероятно, также пиво, вино из ежевики и вино из ферментированной малины[296]. Эти стоянки, впрочем, были менее деревнями, чем огромными складами сельскохозяйственных про-

дуктов, резервами народа, который не оставляет охоте или рыбной ловле дня заботу о своём пропитании. Внимание, с которым современники дольменов выбирали твёрдые породы для своих топоров, бирюзу каллаис, украшавшую их ожерелья, показывает, что они умели исследовать и эксплуатировать свою почву. Я убеждён, что они были осушителями Лимани[297], первыми расчистителями наших больших лесов. Им обязаны самые древние прогалины пахотных земель, которые открывались вокруг источников и вдоль ручьёв. Посредственные как завоеватели людей, они были восхитительны как завоеватели природы. Эти ремесленники пахоты были основателями нашей почвы.

XV. — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ

Они были тем самым основателями большинства наших городов. В обычное время[298] семьи жили изолированно или небольшими группами, в зависимости от культур. Жилища и деревни[299] образовывались главным образом близ источников и в пределах досягаемости хороших земель: одни в ложбинах или на террасах гор[300], другие среди равнин, или в центре прогалин, открытых в глубине леса, или вдоль самых посещаемых троп[301]. — Но если у лигуров, возможно, не было больших обнесённых стеной городов с вечными очагами и постоянными гражданами[302], у них уже существовали два главных элемента муниципальной жизни: рынок и убежище.

Земледельческое **население** действительно нуждается в том и другом. Ей нужны места периодической концентрации: либо в мирное время, чтобы проводить собрания, принимать решения, обменивать продукты, покупать инструменты; либо в военное время, чтобы укрыть свои ресурсы и собрать свои силы. У лигуров были свои рыночные площади[303] и свои крепости[304].

Рынки были открытыми и легкодоступными площадями, настоящими полями собраний, расположенными на перекрёстках больших дорог, при устьях или слияниях рек, близ портов или самых удобных бухт. Прежде чем существовать как города, Марсель и Нарбонна были, без сомнения, местами встречи лигурийских племён, пришедших обменять свои продукты и купить тысячу странных предметов, которые пираты их крови привозили из далёких походов[305]: я думаю даже, что уже в седьмом веке эти места получили от туземцев имя, которое они носят ещё сегодня[306]. Бордо в то время также был человеческой станцией, ярмаркой или рынком[307].

Напротив, в наименее доступных местах лигуры в момент опасности запирали, в укрытии от врагов, своих женщин и детей, свой скот и свои припасы[308]. Горные страны были усеяны обширными редутами, образованными прочными стенами из сухого камня и защищёнными ещё лучше крутизной скал, на которых они были построены[309]. Когда, теснимые вплотную противником, масса воинов племени присоединялась там к своим женщинам и животным, они думали, что им больше нечего бояться других людей: и это должно было быть верно до прихода кельтов или римлян. В низких землях острова рек, сваи озёр, болот и торфяников предлагали отличные убежища для имущества и людей: Лютеция, или Париж, на острове Сены с болотистыми берегами, была в начале своей жизни не чем иным, как центральным убежищем племени, и именно лигурам она обязана своим именем Lutetia[310]; озёрные города Швейцарии и Савойи, кажется, были не постоянными жилищами, а общими амбарами для многих семей.

Большинство этих группировок людей, постоянных или периодических, брали имя источника, который их питал. Ним и Оранж, Алезия и Бибракта, города Юга и Севера, были сначала именами источников, близ которых семьи собирались[311]. И это были одновременно имена божественных Духов, которые жили в этих источниках. Источники порождали одновременно города и религии[312]: и одно и то же слово смешивало жизнь природы, жизнь людей и жизнь богов.

XVI. — СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Мы знаем институты лигуров лишь по фрагментам, и ещё эти обломки почти все происходят от альпийских или апеннинских племён римской эпохи. Однако видно, что их социальное и политическое состояние походило на состояние народов того же имени, которые некогда владели всей Галлией: ибо даже после веков контакта с Этрурией и торговцами моря эти лигурийские общества оставались рудиментарными. Частная собственность не засвидетельствована там никаким заметным следом. В семьях происхождение устанавливалось от отца к ребёнку [313], как и в самых цивилизованных государствах средиземноморского мира. Но они ещё благочестиво сохраняли куваду, то есть один из самых странных налётов на матриархат, которые сохранило человечество, и последний след конфликта между новыми правами отца и этим всемогуществом материнской крови, которое было законом у отсталых народов: если рождался ребёнок, роженица сама очищала его в водах соседнего источника, затем возвращалась к текущим работам земли или хижины; а муж ложился в постель, как будто чтобы вступить во владение этим отцовским правом, которое обычай так долго ему отказывал.

Что более всего удивляет в рассказах, где древние повествовали о судьбах лигурийских народов, — это минимальное место, отведённое личности людей. Я хочу сказать, что никогда в истории их войн и битв историки прошлого не произносили имени ни одного из их вождей. Они сопротивлялись римлянам с упорством, равным или превосходящим упорство испанцев и галлов; они одержали более одной удивительной победы. Но, тогда как почти у всех наций борьба за независимость персонифицировалась в именах вождей — Вирриат, Югурта, Верцингеторикс, Арминий и многие другие, — лигурийские ратные дела, бои и осады предстают в тусклом облике анонимных действий. Ни один царь не заявил на них своих прав. Можно подумать, что эти народы не знали влияния, которое может оказать на других людей более сильная воля, более ясный ум: это смутные массы, которые не одушевляет дыхание высшей индивидуальности. Они не умеют причащаться, как часто делали греки и галлы, в славе живого героя.

Это отсутствие сил и общих идей[314] отчасти следствие их политического состояния. Ни одна древняя *population* не была более неспособна группироваться под великими государствами.

Лигуры подчинялись либо старейшинам или вождям[315], либо скорее наследственным царям[316]. Возможно, что эти цари, как многие царьки Африки, были отвратительными деспотами, господствующими через страх над спинами и членами своего человеческого скота: вид главных погребальных курганов, заставил сказать, что сотни людей были грубо принуждены строить подземное жилище своих господ. Но столь же вероятно, что эти цари имели более мягкие нравы и были лишь главами семей или кланов, судьями, жрецами и отцами своего племени, и не более. Во всяком случае, сколь бы могущественными их ни предполагали, они никогда не командовали более чем несколькими тысячами существ: когда фокейские колонисты высадились в Марселе, они найдут перед собой доброго царя-патриарха, любезного и отеческого, владыку крошечного государства в несколько тысяч гектаров и соседа других царей, которые не были богаче.

Ибо режим племени всегда был свойствен политической жизни лигуров. Почва Галлии была, без сомнения, разделена на полтысячи малых территорий[317]; и каждая из них, владение одного человеческого общества, имела свои деревни и их вождей, своего царя и своих старейшин, цитадели своих кланов, своё коллективное убежище, своё место рынка, свои леса и свои поля культуры. Сегобриги, у которых была основана Массилия, занимали лишь низкую равнину Юво[318] и горы, которые над ней господствуют[319]. Десять племён и более делили страну между Роной, Любероном, Морскими горами и морем[320]. Тридцать-сорок других образовались в большой цепи Альп от Ла-Тюрби до Сен-Готарда[321]: их было не менее трёх, установленных в одном только Вале[322]; два делили Верхнюю и Нижнюю Морьенн[323]; маленького региона Кейра хватало для племени квариатов[324]. Альпийские ложбины, пире-

нейские долины, открытые равнины, где сливаются реки, берега прудов в пустошах, заливы на морях — каждая прогалина природы имела своё особое племя: оно было объединением нескольких сотен семей, сгруппированных для охоты, рыболовства или культуры вдоль ручья, озера[325] или изгиба берега, и останавливающих свои владения на линии лесов, болот или открытого моря, которые замыкали их горизонт[326].

Лигуры были почти всегда бессильны, по крайней мере в известные времена, понять другой способ группироваться. Это состояние раздробленности длилось до конца их независимости[327]. Когда римляне напали на тех из Альп и Апеннин, более одного раза соседним племенам случалось объединяться, чтобы противостоять врагу: молитвы и клятвы обменивались от одного рынка к другому; святой закон соединял разных вождей и семьи, которые им подчинялись[328]. Но этот закон длился лишь время войны, и, когда опасность была устранена, каждая группа возвращалась на своё обычное место и к своей изолированной жизни в складках своей горы.

Однако в некоторых более открытых регионах, более изрезанных естественными путями, более посещаемых торговцами или иностранными моряками, более прочные связи, кажется, соединяли пограничные племена и объединяли их для общей жизни[329]. Вокруг морских и торговых центров образовались эти зародыши империи или народа. В равнине Лангедока уже в шестом веке образовалось великолепное царство элизиков с Нарбонной в качестве столицы[330]. То из Руссильона подчинялось в ту же эпоху **народу** сордов, сгруппированных близ посещаемого рынка Пирене (Пор-Вандр?)[331]. Вполне возможно, что мощная конфедерация такого рода возникла тогда вдоль залива Морбиана и венецских берегов: эксплуатация моря, армориканского олова и погребальных обрядов могла создать в этих краях богатое и могущественное государство. Но чаще всего лигуры кажутся невосприимчивыми к широким политическим обществам. Они не сближались ни чтобы завоёвывать вовне, ни чтобы преобразовываться внутри. Если сотни племён, населявших Галлию, походили на те из Апеннин (а я думаю, что походили), желание прочного союза не парило над ними; они не были знакомы с этими обширными амбициями и общими мыслями, из которых могут выйти состоятельные нации.

XVII. — ТОРГОВЫЕ СНОШЕНИЯ

Это отсутствие постоянного союза не подразумевает абсолютной изоляции каждого из этих племён. Как они сближались в военное время, так и в мирное время они оставляли свои границы открытыми для торговцев, а возможно, также для мёртвых и скота.

Что система перегонов скота существовала уже в эти далёкие времена, что уже тогда вдоль широких и бесконечных путей стада овец спускались и поднимались каждый сезон между Пиренеями и Гасконью, Севернами и Лангедоком, Альпами и Кро — это весьма вероятно[332]: но нельзя это доказать. — Если верно, что Арморика была избранной землёй для умерших, северо-запад Галлии должен был иметь, как Скифия времён Геродота, свои длинные священные тропы, где сменялись погребальные колесницы; и эти непрерывные марши к мёртвым прокладывали большие общие дороги, как позже, на севере и юге Средиземноморья, паломничества Святого Иакова и Мекки. — Но больше, чем благочестивые и больше, чем пастухи, именно торговцы в лигурийские времена проложили тропы путей общего интереса и признали перекрёстки, благоприятные для частых встреч. Экономические нужды и желания роскоши были причинами, которые поддерживали регулярное согласие между племенами.

Само собой разумеется, что состояние войны часто этому мешало, но оно не было более длительным у лигуров, чем у культурных народов, и древние даже иногда находили удовольствие в изображении варваров Северной Европы как возделывающих свои земли в мире, под благодетельными лучами Солнца, их бога[333]. Во всяком случае, между различными группами лигурийских **народов** были нормальные и весьма обширные торговые сношения[334]: возможно, торговцы пользовались моральным или религиозным престижем, который делал их неприкосновенными: греки позже рассказывали, что торговцы ходили взад и вперёд между

Италией и Галлией по дороге Мон-Женевра, любезно принимаемые всеми, защищённые обычаями, проходя без опасности от одного племени к другому вдоль этих пятидесяти лье троп, столь благоприятных для засад[335]. Открытия, сделанные в озёрных стоянках и под мегалитами, — поразительное доказательство лёгкости, с которой предметы всякого рода циркулировали в Галлии самых далёких времён. Встречаются оружие или украшения из бронзы почти единообразно повсюду[336]: если они были отлиты на месте бродячими или туземными бронзовщиками[337], олово и медь могли быть лишь импортированы из часто очень далёких земель[338]. Существует к югу от Турени, в Гран-Пресиньи и окрестностях, обширное месторождение отличного кремня для изготовления топоров и наконечников стрел: резчики и полировщики камня извлекали оттуда веками бесчисленные количества оружия и инструментов, и с берегов Луары продукты Гран-Пресиньи распространились массой по всей Арморике, в Парижском бассейне, даже в Бельгии и через восточные пути вплоть до строителей свай швейцарских и альпийских озёр[339]. Туземцы лигурийской Галлии искали, чтобы делать из неё бусины и подвески ожерелий, своего рода зелёную бирюзу, которую называют каллаис: если этот материал встречался в Галлии, то лишь в ограниченном числе месторождений[340]; однако он был в употреблении у племён, весьма далёких друг от друга, — в Арморике[341], в долине Шаранты[342], в Провансе и Пиренеях[343]. Некоторые из продуктов, которые использовали лигуры, приходили по земле или по морю из ещё более далёких регионов. Янтарь, позже[344] соперник каллаиса как материал роскоши, транспортировался в Галлию с берегов Северного моря и прибывал от соседа к соседу вплоть до племён озёр Швейцарии и Савойи[345]. Эти полудикари с каменными и бронзовыми топорами имели серьёзную практику торговых обменов. На берегах Океана, как и на берегах Средиземноморья, угадывается с доисторических времён интенсивное движение каботажа и торговли мелочью[346]. Как море, великие реки тоже были элементами общей жизни и широкого любопытства: их подвижные воды приглашали к отплытию и соединяли людей от соседа к соседу[347].

Наконец, чужеземец больше не был ни изгнан, ни внушал страх на берегах двух морей, которые окаймляли лигурийские земли. Традиции, оставленные рассказами древнейших мореплавателей, не предлагают тех сцен ужасов и панических бегств, которые мы находим в периплах африканских берегов[348]. Первая высадка, память о которой сохранила история, — высадка фокейцев — была помещена в рамку любовной идиллии[349].

Без сомнения, основатели Марселя имели в галльском Средиземноморье предшественников — египтян, критян, фригийцев, лидийцев, финикийцев, этрусков, иберов или тартесиев[350], которые приходили на эти самые берега сбывать свои товары и вкушать экзотические любви. Ни одна из талассократий, сменявших друг друга в Средиземноморье со времён Миноса, не должна была пренебрегать этими провансальскими берегами с привлекательным доступом. Эти финикийцы, которые обогнули Африку, которые оставили колонии и воздвигли храмы на угрюмых берегах Тингитаны[351], эти люди Тартесса, которые были более чем за тысячелетие до Христа смелыми открывателями западных земель[352], все эти вожди народов моря — Улисс Тира, Сидона или Гадеса, аргонавты критских или эгейских вод, смелые, ловкие, хитрые, жадные, мужественные, терпеливые и корыстные, которые не боялись ни смертельных опасностей, ни длин пространства, ни длительности времени, — знали, я полагаю, эти синие и глубокие бухты, которые предлагают самый надёжный отдых лодке и моряку. Я не колеблюсь принять их приход в Марсель, Пор-Вандр, Ампуриас[353] и другие места задолго до фокейцев. — Но я спешу сказать, что от их прохода ничего не осталось, даже имени и воспоминания[354].

На Внешнем море моряки Гадеса, туземцы или финикийские колонисты[355], которые отправлялись на север за английским оловом[356] и фризским янтарём[357], более одного раза делали остановку на бесконечных берегах Атлантики, ожидая ветра, предаваясь охоте и обменивая продукты или товары. Требовалось, говорили, иногда четыре месяца, чтобы добраться из Гадеса в Англию[358]: но это было, очевидно, останавливаясь без конца для мелкой торговли

или мародёрства[359]. Я не могу поверить, в частности, что тартессии не знали этого чудесного пролива Пасакес[360], который приоткрывается, спокойный и глубокий, посреди бездн Океана и откуда лёгкая ложбина ведёт до богатых металлических жил Айи. От Гадеса до острова Уайт было уже непрерывное движение лодок и пирог: туземцы Великобритании и Ирландии совершали далёкие походы с той же смелостью, что и опытные матросы Андалусии[361], и между этими двумя морскими силами морская сила Морбиана сумела, конечно, занять своё место. Когда Гимилькон и Пифей за Уэссаном направляются к Корнуоллу, Фрисландии и Норвегии, они лишь последуют следам, оставленным веками их варварскими соперниками.

Сделали ли эти владыки западных и южных морей больше? Признали ли они относительную близость этих двух линий портов остановки — линии Средиземноморья и линии Океана, что было отличительной чертой строения Галлии? Отдали ли они себе отчёт, что между двумя великими морями есть перешеек и что им было бы выгодно перевозить товары по земле от Сены до Роны, от мыса Фигье до мыса Крё? Это не невозможно. Первая общая идея, которую древние имели о Галлии, состояла в том, что эти два мыса принадлежали одной цепи, что Пиренеи шли от одного берега до другого и что между их морскими оконечностями было лишь семь дней пути[362]. Возможно, уже до шестого века караваны, нагруженные оловом, медью, янтарём и каллаисом, организовывались у северного подножия Пиренеев, между областью Пасакес и областью Пор-Вандр.

Иностранные и туземные торговцы, признавая и используя естественные пути, прокладывали первые черты единства Галлии.

XVIII. — О ЛИГУРИЙСКОМ ГЕНИИ

Таковы были характер и жизнь лигурийских **народов** Галлии. Я не скрываю от себя, что в этой картине есть неопределённого и что почти по всем пунктам обсуждение возможно. Но история до текстов всегда будет лишь предположительной реконструкцией, где исследователь заменяет дедукциями ответы, которые ему отказывают анонимные и молчаливые памятники.

Нужно ли к этим гипотезам о лигурах прошлого добавить другие об их этнических судьбах? Можно ли найти их способ быть у миллионов людей, которые обитали после них на почве Галлии и которые под разными именами являются по большей части прямыми продуктами их крови? Унаследовали ли их сегодняшние потомки их физический и моральный характер? — Вот главный ответ, который был дан некоторыми на эту проблему.

— Большинство французов состоит из людей небольшого роста, тёмного цвета кожи и волос, с сухой и нервной конституцией, с гибкими и быстрыми жестами. Они более чем что-либо — упорные пахари, терпеливые и ловкие работники, неутомимые пешеходы. — Эти общие качества народа — наследство, никогда не скомпрометированное, лигурийских племён. Крестьяне наших деревень сохранили за двадцать пять веков культ тех же вершин и тех же источников: темперамент людей имел ту же силу сопротивления, что и святость Гениев страны.

— Именно лигурийским атавизмом объяснялись бы также собственные нравы различных регионов Франции, те, которые их удалённость от центра, необъятность их лесов, худоба их земель или трудность их гор держали в стороне от великих вторжений севера и опасных вождений. — Южанин — гасконец, лангедокец, провансалец — с чёрными волосами, крикливым тоном, смелый, хитрый и хвастливый, является истинным правнуком лигура, *fallax Ligus*. — Но этот последний оставил других не менее подлинных наследников у бретонцев и басков, которые сохранили его упрямство, его доблесть моряка, его лёгкость бегуна. Некоторые из его физических привычек ещё перешли к каменотёсам Лимузена и Пьемонта, к лесорубам Морвана, Ландов и Перигора, к тщательным пахарям Виваре, к полудиким пастухам Руэрга и Жеводана. Некоторые черты, некогда общие всем лигурам Галлии, стёрлись у части наций, которые они образовали, и закрепились у других[363]. —

Вот что было сказано о пережитках лигурийского темперамента, и что не невероятно. — Однако я не хочу брать на себя эти новые гипотезы. До какой степени, действительно, можем

мы утверждать, что эти качества француза, эти недостатки южанина — продукты крови и тела, а не нынешний итог привычек, навязанных их предкам небом, которое они видели, землёй, которую они возделывали, воздухом, почвой, впечатлениями и нуждами, которые их окружали? Бретонские моряки, баскские бегуны — не являются ли они **наследниками** способностей и вековых традиций, взятых в горах и на море? Что у них характер в крови, я охотно допускаю: но страна или лигурийская раса создала эту кровь, эту физическую и моральную конституцию? И если столько французов похожи на лигуров, то в силу внешних, материальных и социальных законов или специфических добродетелей их внутреннего организма? — До того дня, когда антропология сумеет различать в характерах человека или группы людей те, что происходят от расы, и те, что происходят от окружающей природы, можно лишь указывать эти сходства и ждать. — Но нужно избегать говорить «темперамент», «раса» или «лигурийский гений».

Впрочем, темперамент **народа** не неизменен и, более чем темперамент человека, может беспрестанно трансформироваться. Нам часто говорят о кельтской душе, германском гении, латинском духе. Если под душой или гением понимают отличительные и постоянные характеры вечных рас, я отказываюсь произносить эти слова: ибо я не знаю, что означает слово «раса», применённое к этим именам народов, и я отрицаю, что эти имена всегда обозначали народы одного характера. Те, кого мы назовём лигурами, кельтами, латинами и германцами, были комбинациями индивидов, происходящих от разнообразных и неизвестных предков, неточными массами, образованными существами, невидимыми для нас, и непрестанно проникаемыми новоприбывшими: и никто не может сказать, в чём состояла раса, свойственная каждому из этих людей. Конечно, в данный момент латины или кельты имели определённый гений, коллективную Душу, как все объединения людей, которые приобретают общие привычки. Но этот гений менялся со временем: он был поочерёдно рабским или завоевательным, инертным или активным, умным или глупым, артистичным или грубым, в зависимости от революций, которые его потрясали, господ, которые его вдохновляли, почвы, где он жил, физических бедствий, которые обрушивались на его земли. Знают ли точно, не впадут ли самые живучие нации однажды в состояние общей депрессии, наиболее противоположное их нынешней природе? Посмотрите теперь на малое морское честолюбие басков Лабурда, которые были от Эдуарда I до Кольбера самыми предприимчивыми из народов французского моря? Никто не подумал бы во времена Карла Простоватого, что пираты Севера, неспособные к покою, по видимости чуждые всякому земному очагу, станут в Нормандии мудрыми, стабильными и добросовестными земледельцами. Кто может сказать, не выйдет ли из тёмных, апатичных и аморфных **народов** однажды, после веков абсолютной неподвижности, неодолимый порыв? Пусть вспомнят об этом **грозном** движении ислама, самом прочном и самом мощном, которое когда-либо исходило от человечества и которое так внезапно вырвалось из самой молчаливой земли древнего классического мира[364]!

Будем же остерегаться говорить о лигурийском гении и верить, что раса этих людей фатально обрекала их на банальность материальных нужд и посредственность полезных работ. Мы хотели искать здесь лишь то, чем они были и что делали в определённый момент своей истории. — В седьмом веке до нашей эры народы Галлии жили тесно связанными со своей почвой; горизонт их обычных мыслей, влияние их обычных богов не выходили за пределы племени. Именно торговые интересы более всего сближали людей. Но у них не было ни вкуса к вещам духа, ни желания далёких завоеваний. Им не хватало памяти и амбиций, они не умели смотреть ни в прошлое, ни в будущее. Ни одно мощное дыхание не волновало эту массу, чтобы превратить её в нацию, способную производить или разрушать.

ГЛАВА V. — ОСНОВАНИЕ МАССИЛИИ [1]

I. — ЗНАЧЕНИЕ ШЕСТОГО ВЕКА

Именно из Греции дух впервые повеял на лигурийские земли Галлии: они приобщились к общей истории мира[2] лишь тогда, когда фокейцы высадились в Массилии около 600 года до нашей эры.

Шестой век увидел несколько событий, которые были решающими в судьбе средиземноморских народов.

Тогда появились города, идеи и империи, которым этим народам предстояло позже подчиняться и которые превратят их в компактный мир и однородную цивилизацию. — Персидская империя была создана Киром и Камбисом: впервые, по крайней мере насколько нам известно, мечта о всеобщей монархии вышла из долин восточных рек и достигла берегов и островов Внутреннего моря: города и эгейские лиги мало-помалу привыкали к имперской идее. — Но в то же время греческий флот заявлял свои права на наследие финикийской талассократии; и если Карфаген рос на Западе, то моряки Ионии, в свою очередь, проникали туда, а с ними — те боги, те гомеровские поэмы, те мифы и те формы искусства, которые подчинили все берега, от Александрии до Массилии, культу эллинской мысли. — Наконец, под мощным действием своих этрусских династов Рим становится очень большим городом и готовится извлечь выгоду из своего положения в центре Италии.

Но тогда же народы Севера спускаются против народов Юга победоносными массами. Кельтское вторжение современно правлению Кира: и оно — первое известное из этих великих миграций людей, которые задержат средиземноморское единство, а затем его разрушат [3].

II. — ФОКЕЙЦЫ В ЗАПАДНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ[4]

Из этих новых хозяев фокейцы первыми появились на берегах Галлии[5]. Они были из греков моря теми, кто имел больше всего смелости и зашёл дальше всех. Теснота их территории и сухость её почвы заставляли их жить рыболовством, торговлей и пиратством[6]. Но Понт Эвксинский, Эгейское море, Великая Греция, Сицилия были заняты соперниками: только Западное Средиземноморье было ещё свободно от всякого эллинского влияния. Именно к западу и направились фокейцы.

Первыми среди греков они сознательно отважились[7] в воды Сардинского моря[8]. До седьмого века эллины оставляли эти воды и берега древнейшим народам моря. Единственным греком, приходившим туда, был легендарный моряк Улисс: и он пришёл туда против своей воли, как бродяга, а не как завоеватель; из своих приключений на островах Запада он принёс лишь воспоминание об ужасных опасностях и соблазнах хуже опасностей: Цирцея-чародейка на итальянских берегах[9], лестригоны-людоеды в бухтах северной Сардинии[10], Калипсо наконец близ Гибралтарского пролива[11]: чем ближе он подходил к Океанской реке, тем больше испытывал страх смерти, коварную силу богов, злобу людей и острое желание возвращения.

Фокейцы разрушили чары Цирцеи и Калипсо, хранительниц северных и западных путей, и победоносно обогнули мысы и острова, где эти богини до тех пор останавливали предприятия греков[12].

Помимо духа приключений и любви к наживе, которые они разделяли со всеми греками, обитатели азиатской Фокеи обладали особыми способностями к искусству кораблестроения[13]. Они выбрали род корабля, пригодный для далёких плаваний. Ионийской лодке с округлым корпусом, тяжёлой массе, медленной, всегда тяжело нагруженной, они предпочитали длинный, узкий и лёгкий корабль с угрожающим тараном, со стройным профилем, управляемый и приводимый в движение командой из пятидесяти гребцов[14]: что произвело революцию в жизни Средиземноморья. Фокейское судно было уже не просто большой транспортной

баркой: это была машина, созданная для скорости[15], атаки, борьбы и внезапных нападений, повинующаяся с совершенной точностью приказу, который ею управлял. Оно одно было способно тягаться с быстрыми пирогами, бороздившими берега Запада: в нём было необходимое орудие для рискованных исследований, длинных переходов вдали от берегов, внезапных пиратств, стратегии морских битв. Фокейцы готовили флот завоевания.

Когда они появились в западном бассейне Средиземного моря в конце седьмого века, три или четыре морские силы делили там выгоды рыболовства, доходы от торговли, прибыли от разбоя[16]. Все северные берега к северу от мыса Ла-Нао, Балеар и Арно были оставлены туземцам — иберийской империи или лигурийским племенам. Этрусская империя, простиравшаяся к югу от этой последней реки до плодородных равнин Кампании, господствовала без соперника над водами Тирренского моря[17]. От мыса Ла-Нао до мыса Сан-Висенти[18] царствовали цари Тартесса или Гадеса, избавленные после гибели Тира от финикийского влияния или конкуренции[19]. К югу и востоку от Испании появлялись также флоты Карфагена: он занял юг Сардинии[20] и Балеарские острова (654–653?) [21]; он угрожал испанским берегам; он обнаруживал амбицию вернуть себе на крайнем Западе роль Тира и обратить в свою пользу славу и величие Гадеса. От одного конца Средиземноморья до другого — в Лидии Мермнадов и Египте Нехо[22], в Риме этрусских Тарквиниев и Андалусии Аргантония — повсюду кипела торговая жизнь невероятной энергии. Казалось, великие государства седьмого века направляли свои усилия к мирным завоеваниям новых рынков и полагали свою амбицию в богатстве, труде и торговле[23]. Фокейцы, в свою очередь, мечтали основать торговую империю.

Сначала они подумали также о Гадесе, несравненном Тартессе[24]. Гадес с бесчисленными флотами был отправной точкой плаваний по Океану к рынкам олова и янтаря. Затем он царствовал над Андалусией, единственной из далёких земель, где были соединены все блага, зажигающие вожеления народов: урожаи и виноградники, драгоценные металлы и металлы войны, скот, дичь и рыбные промыслы накапливали в городе и земле Тартесса неисчерпаемые богатства[25]. Как будто чтобы увеличить его престиж, Гадес открывался на Внешнее море, к югу и к западу одновременно, к концу земель и к концу людей: он казался убежищем счастья, дарованного богами на краю мира людей[26]. Он принадлежал теперь очень древней династии кротких и гостеприимных царей, могущественных на земле и на море[27]. В средиземноморских гаванях ходили трогательные рассказы о царе Тартесса Аргантонии, самом счастливом, самом богатом, самом старом из людей, которого боги оставляли жить вечно, как его соседку Калипсо[28].

Реальное богатство и сказочная слава Испании, отдалённое и обходное положение берегов Галлии привели к тому, что в великие периоды античной истории первая всегда появляется на несколько веков раньше своей пиренейской соседки. Она всегда предшествовала ей в цивилизованной жизни. Первый текст, касающийся Испании, упоминает за одиннадцать веков до христианской эры[29] основание тирской колонии в Гадесе, и лишь 500 лет спустя дата и имя города окончательно закрепляются, с Массилией, на почве Галлии. — И даже в конце седьмого века немного доставало, чтобы греки, удержанные соблазнами Тартесса, надолго отвлеклись от лигурийских берегов.

Фокейцы отправились, следовательно, к Гадесу. Они миновали пещеру Калипсо, дочери Атласа, прошли пролив, высадились и остались в Андалусии. Аргантоний принял их с обычной щедростью: они понравились ему, он дал им столько серебра, сколько они могли пожелать, и предложил им земли, какие они захотят выбрать[30] (между 620–601? [31]).

Но фокейцы не обосновались навсегда в области Гвадалквивира. Ни одна колония не была основана ими в окрестностях Океана. Проведя некоторое время в Тартессе, они вернулись к Средиземному морю.

Вероятно, непреодолимая сила удалила их от Гадеса. Карфаген должен был идти по следу этих столь быстрых и столь опасных соперников и, когда пришло время, закрыть им войной или соглашением Гибралтарский пролив и доступ к блаженным землям[32] (около 601?).

Фокейцы отхлынули к Внутреннему морю. Но и тогда они направились не прямо на север. Следуя по вехам, уже отмеченным греческими колониями, они шли вдоль западных берегов Италии. За Кумами они встретили новые земли этрусских стран; никакое очарование или защита не помешали им обогнуть мыс Цирцеи; они вошли в Тибр и, как в Испании с Аргантониюм, имели с Тарквинием Древним беседы дружбы и торговли[33].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.